

ДМИТРИЙ ГЛУХОВСКИЙ
БУДУЩЕЕ

MOTEL
NO
VACANCY

18+

Бестселлеры Дмитрия Глуховского

Дмитрий Глуховский
Будущее

«АСТ»

2013

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Глуховский Д. А.

Будущее / Д. А. Глуховский — «АСТ», 2013 — (Бестселлеры
Дмитрия Глуховского)

ISBN 978-5-17-118366-0

НА ЧТО ТЫ ГОТОВ РАДИ ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ? Уже при нашей жизни будут сделаны открытия, которые позволят людям оставаться вечно молодыми. Смерти больше нет. Наши дети не умрут никогда. Добро пожаловать в будущее. В мир, населенный вечно юными, совершенно здоровыми, счастливыми людьми. Но будут ли они такими же, как мы? Нужны ли дети, если за них придется пожертвовать бессмертием? Нужна ли семья тем, кто не может завести детей? Нужна ли душа людям, тело которых не стареет? Утопия «БУДУЩЕЕ» – первый после пяти лет молчания роман Дмитрия Глуховского, автора культового романа «МЕТРО 2033» и триллера «Сумерки». Книги писателя переведены на десятки иностранных языков, продаются миллионными тиражами и экранизируются в Голливуде. Но ни одна из них не захватит вас так, как «БУДУЩЕЕ».

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-118366-0

© Глуховский Д. А., 2013
© АСТ, 2013

Содержание

Глава I. Горизонты	6
Глава II. Водоворот	18
Глава III. Рейд	27
Глава IV. Сны	39
Глава V. Вертиго	53
Глава VI. Встреча	65
Глава VII. День рождения	77
Глава VIII. По плану	88
Конец ознакомительного фрагмента.	93

Дмитрий Глуховский

Будущее

© Д.А. Глуховский, 2013

© ООО «Издательство АСТ», 2013

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

Глава I. Горизонты

Лифт – отличная штука, говорю я себе. Есть масса поводов восхищаться лифтами.

Путешествуя по горизонтали, всегда знаешь, куда попадешь.

Перемещаясь по вертикали, можешь оказаться где угодно.

Направлений вроде всего два – вверх и вниз, но ты никогда не знаешь, что увидишь, когда створки лифта раскроются. Бескрайние офисные зоопарки – клерки в клетках, идиллическая пастораль с беззаботными пастушками, саранчовые фермы, ангар с одиноким дряхлым Нотр-Дамом, смрадные трущобы, в которых на одного человека приходится тысяча квадратных сантиметров жилья, бассейн на берегу Средиземного моря или просто сплетение тесных сервисных коридоров. Одни уровни доступны для всех, на других лифты не открывают своих дверей случайным пассажирам, а о третьих не знает никто, кроме тех, кто проектировал башни.

Башни достаточно высоки, чтобы проткнуть облака, а корни, которыми они уходят в землю, еще длиннее. Христиане убеждают, что в башне, которая построена на месте Ватикана, есть лифты, курсирующие в Преисподнюю и обратно, а есть такие, что возят праведников прямо в рай. Я тут прижал одного проповедничка, спросил, зачем в такой безнадежной ситуации они продолжают оболванивать людей. Впаривать бессмертие души в нынешние времена – дело обреченное. Душой же давно никто не пользуется! Христианский рай, должно быть, такая же унылая дыра, как собор Святого Петра: народу никого, и повсюду слой пыли с палец толщиной. Тот затрепыхался, запищал что-то про образы для масс-маркета – мол, надо говорить с паствой на ее языке. Надо было сломать этому трюкачу пальцы, чтобы ему креститься не так ловко было.

На километровую высоту скоростные лифты взлетают буквально за пару минут. Для большинства этого времени как раз хватает, чтобы посмотреть рекламный ролик, поправить прическу или убедиться, что между зубов ничего не застряло. Большинство не обращает внимания ни на интерьер, ни на размер кабины. Большинство даже не отдает себе отчета в том, что лифт куда-то движется, хотя ускорение сдавливает и кишки, и извилины.

Согласно законам физики, оно должно было бы спрессовывать и время – хоть чуть-чуть. Но вместо этого каждый миг, который я провожу в кабине лифта, разбухает, распухает...

Я смотрю на часы в третий раз. Эта чертова минута никак не желает заканчиваться! Я ненавижу людей, которые восхищаются лифтами, и ненавижу людей, которые способны как ни в чем не бывало разглядывать в кабинах свое отражение. Я ненавижу лифты и того, кто их изобрел. Что за дьявольская идея – подвесить над бездной тесный ящик, запихнуть туда живого человека и предоставить ящику решать, сколько держать человека взаперти и когда выпускать его на свободу?!

Двери все никак не откроются; хуже того, кабина даже не собирается замедляться. Так высоко я, пожалуй, еще не забирался ни в одной башне.

Но на высоту я плевать хотел, с высотой у меня нет никаких проблем. Я готов стоять на одной ноге на вершине Эвереста, только бы меня выпустили из этого проклятого гроба.

Не надо об этом думать, иначе воздух кончится! Как я опять соскользнул в эти клейкие мысли? Я ведь так славно размышлял о заброшенном соборе Святого Петра, об изумрудных тосканских холмах ранним летом... Закрывать глаза, вообразить себя среди высокой травы... Я стою в ней по пояс... Все по книжным рекомендациям... Вдох... Выдох... Сейчас успокоюсь... Сейчас... Да откуда мне знать, каково это – стоять по пояс в долбаной траве?! Я никогда не видел ее ближе чем с десятка шагов, если, конечно, не считать синтетические газоны!

Зачем я согласился забраться так высоко? Зачем принял приглашение?

Хотя приглашением это назвать сложно.

Вот живешь ты тараканьей фронтовой жизнью: бегаешь по траншеям щелей в полах и стенах. Любой шум относишь на свой счет и тут же замираешь, и каждый раз надо быть готовым к тому, что раздавят. И вот однажды выбираешься на свет и попадаешься. Однако вместо того чтобы хрустнуть и сгинуть, вдруг, крепко зажатый пальцами, взлетаешь куда-то вверх, где тебя собираются разглядывать.

Кабина все продолжает подниматься. Экран во всю стену показывает рекламу: размалеванная девка глотает таблетку счастья. Остальные стены – бежевые, мягкие, сделаны так, чтобы не нервировать пассажиров и чтобы не дать им расколотить себе башку в приступе паники; однозначно, восхищаться лифтами есть масса поводов!

Шипит вентиляция. Я чувствую, что взмок. На бежевый пружинящий пол падают капли. Горло не пропускает воздух, словно его сдавливает могучая механическая пятерня. Девка смотрит мне в глаза и улыбается. Во мне остается тоненькое отверстие, через которое я еле втягиваю в себя достаточно кислорода, чтобы не потерять сознание. Бежевые стены медленно, почти незаметно сжимаются вокруг меня, норовя задавить. Выпустите!

Ладонью я зажимаю девке ее улыбающийся красный рот. Ей, кажется, это даже нравится. Потом изображение пропадает, и экран превращается в зеркало. Я гляжу на свое отражение. Улыбаюсь.

Разворачиваюсь, чтобы залепить кулаком по дверям.

И тут лифт останавливается.

Створки раздвигаются.

Стальные пальцы, пережавшие мне трахею, нехотя ослабляют хватку.

Я вываливаюсь из кабины в лобби. Пол выложен якобы камнем, стены отделаны якобы деревом. Освещение вечернее, за простой стойкой – загорелый благожелательный консьерж в свободной одежде. Никаких надписей, никакой охраны; те, кто имеет сюда доступ, знают, куда попали, и понимают, какую цену им придется заплатить за любой эксцесс.

Я собираюсь представиться, но консьерж дружелюбно отмахивается.

– Проходите-проходите! За моей стойкой – второй лифт.

– Еще один?!

– Он поднимет вас прямо на крышу, буквально пара секунд! На крышу?

Никогда раньше не бывал на крышах. Жизнь проходит в помещениях, в боксах и в тубах, как и у всех. Оказываешься иногда снаружи – гонишься за кем-нибудь, случается всякое. Делать там особо нечего.

Но крыши – другое дело.

Я как попало нацепляю на свою потную физиономию учтивую улыбку и, собравшись, шагаю к потайному лифту.

Никаких экранов, никакого управления. Набираю воздуха, ныряю внутрь. Пол – паркет из русского дерева, раритет. Забыв на секунду о своем страхе, я приседаю и ощупываю его. Это не композит, точно... Солидно.

Именно таким идиотом на корточках – промежуточная стадия известного рисунка на тему превращения обезьяны в человека – меня и застает она, когда двери вдруг распахиваются. Будто и не удивлена тем, в какой позе я езжу на лифтах. Воспитание.

– Я...

– Я знаю, кто вы. Мой муж немного задерживается, попросил меня вас развлечь. Считайте меня его авангардом. Я – Эллен.

– Пользуясь случаем... – Не поднимаясь с колен, я улыбаюсь и целую ее руку.

– Кажется, вам немного жарко. – Она забирает у меня свои пальцы.

Ее голос прохладен и ровен, а глаза скрыты за огромными круглыми стеклами темных очков. Широкие поля элегантной шляпы – коричневые и бежевые полосы концентрически чередуются – опускают на лицо вуаль тени. Мне видны только губы – вишневая помада – и

зубы, идеально выточенные и кокаиново-белые. Может быть, это обещание улыбки. А может, ей просто хочется одним полудвижением своих губ заставить мужчину строить щекочущие гипотезы. Просто так, для упражнения.

– Мне немного тесно, – признаюсь я.

– Так пойдемте, я покажу вам наш дом.

Я встаю и оказываюсь выше ее, но мне кажется, что это она продолжает смотреть на меня свысока из-за своих стекол. Она предлагает называть себя Эллен, но это все игры в демократию. Госпожа Шрейер, вот как мне следует к ней обращаться, учитывая, кто такой я и чьей супругой является она.

Понятия не имею, зачем я понадобился ее мужу, и уж совсем не могу представить себе, к чему ему впускать меня в свой дом. Я бы на его месте побрезговал.

Из светлой прихожей – створка лифтовой кабины притворяется обычной входной дверью – я попадаю в вереницу просторных комнат. Эллен идет чуть впереди, указывая дорогу, не оборачиваясь ко мне. И прекрасно – потому что я пялюсь по сторонам, как деревенщина. Я бываю во всяких домах – моя служба, как некогда служба старухи с косой, не позволяет делать различий между бедными и богатыми. Но таких интерьеров мне не доводилось видеть нигде.

На господина Шрейера и его супругу приходится больше жилой площади, чем на обитателей нескольких кварталов десятком-другим ярусов ниже.

И не надо ползать на коленях, чтобы убедиться: все в доме – натуральное. Конечно, неплотно пригнанные и вытертые мореные доски пола, ленивые латунные вентиляторы под потолком, азиатская темно-коричневая мебель и отполированные пальцами дверные ручки – все это стилизация. Начинка у дома – сверхсовременная, но скрыта она за самой настоящей латунью и самой настоящей древесиной. С моей точки зрения – непрактично и неоправданно дорого. Композит стоит в десятки раз меньше, и он-то вечен.

Тенистые комнаты пусты. Прислуги нет; иной раз проявится из тени человеческий силуэт, но окажется скульптурой – то из покрытой налетом патины бронзы, то из лакированного черного дерева. Доносится откуда-то тихая старинная музыка, и на ее волнах госпожа Шрейер гипнотизирующе покачивается, проплывая через свои бескрайние владения.

Платье на ней – прямоугольник из кофейной ткани. Его плечи нарочито велики, ворот – слишком груб: просто круглая дыра. Обнажая сверху только шею – долгую, аристократическую, – оно непроницаемо на всем ее стане, но вдруг заканчивается сразу на бедрах прямо начерченной линией. И за этой линией – тоже тень. Красота любит тень, в тенях рождается соблазн.

Поворот, арка – и вдруг потолок пропадает.

Надо мной разверзается небо. Я застываю на пороге.

Черт! Я знал, что это произойдет, но все же не был к такому готов.

Она оборачивается, улыбается мне снисходительно:

– Неужели вам не случалось бывать на крышах? Плебей, имеет в виду она.

– По работе мне гораздо чаще приходится торчать в трущобах, Эллен. Вам не случалось бывать в трущобах?

– Ах да... Ваша работа... Вы ведь убиваете людей или что-то вроде того, да?

Спросив, она словно и не ждет ответа – отворачивается и движется дальше, увлекая меня за собой. И я не отвечаю. Наконец переварив небо, я отдираю себя от дверного косяка – и понимаю, куда привез меня лифт.

В подлинный рай. Не в засахаренный христианский эрзац, а в мой персональный парадиз, которого я никогда не видел, но о котором, оказывается, всю жизнь мечтал.

Вокруг меня нет стен! Ни единой. Я стою на пороге большого бунгало, занимающего середину обширной песчаной поляны в сердце одичавшего тропического сада; в разные стороны отсюда проложены настилы дорожек, и ни у одной из них не видно конца. Фруктовые

деревья и пальмы, неизвестные мне кусты с огромными сочными листьями, мягкая зеленая трава – вся растительность тут, хоть она и ярка по-пластиковому, несомненно, настоящая.

Я впервые черт знает за сколько времени чувствую, что мне дышится легко. Словно всю мою жизнь у меня на груди просидела какая-то грязная толстуха, придавливая ребра и отравляя мне дыхание, а теперь я ее свалил и наконец почувствовал свободу. Давно я такого не ощущал. Может, и никогда.

Следуя по дощатому настилу за бронзово-надменной госпожой Шрейер, я открываю для себя место, которое должно было бы быть моим домом. Тропический остров – так выглядит резиденция ее мужа. Искусственный – но об этом можно догадаться лишь по его геометрической идеальности. Это выверенный круг, не меньше километра в сечении. Ровная кайма пляжа окольцовывает его.

Когда госпожа Шрейер выводит меня на пляж, моя выдержка меня предает. Я нагибаюсь, зачерпываю горсть мельчайшего, нежного белого песка. Можно было бы подумать, что мы на атолле, затерянном где-нибудь в морском безбрежии, если бы вместо пенистой водной кромки пляж не заканчивался прозрачной стеной. За ней – обрыв, а дальше, в десятке метров внизу – облака. Почти незаметная уже с нескольких шагов, стена поднимается вверх и превращается в огромный купол, накрывающий остров целиком. Купол поделен на сектора, каждый из которых может сдвигаться, обнажая пляж и сад для солнца.

С одного края между пляжем и стеклянной стеной плещется синяя вода: небольшой бассейн старается быть для госпожи Шрейер куском океана. Прямо перед ним на песке стоят два шезлонга.

Она устраивается на одном из них.

– Обратите внимание, – говорит госпожа Шрейер. – Тучи всегда остаются внизу, поэтому у нас тут очень хорошо загорать.

Сам-то я видел солнце не раз, но знаю массу людей с нижних ярусов, которые в отсутствие настоящего солнца научились обходиться нарисованным. Но видимо, когда долго соседствуешь с чудом, начинаешь от него скучать и пытаешься выдумать ему какое-то практическое применение. Что, солнце? Ах да, от него такой естественный загар...

Второй шезлонг явно принадлежит ее мужу; так и вижу, как они, небожители, вечерами созерцают с этого Олимпа мир, который считают своим.

Я опускаюсь в нескольких шагах от нее – сажусь прямо на песок – и вглядываюсь в даль.

– Как вам у нас нравится? – покровительственно улыбается она.

Вокруг, сколько хватает глаз, расстилается клубящееся облачное море – а над ним парят сотни, тысячи летучих островов. Это крыши других башен, обиталища богатейших и могущественнейших – потому что в мире, свинченном из миллионов замкнутых пространств, составленном из ящиков, нет ничего дороже пространства открытого.

Большинство крыш превращены в сады и лесные рощи. Проживая на небесах, их обитатели кокетливо скучают по земле.

А там, где летающие острова тают в дымке, мироздание схватывает кольцо горизонта. Я впервые вижу ту тонкую линию, которая отделяет землю от неба. Когда выбираешься наружу на нижних или средних уровнях, перспектива всегда загромождена, и все, что видно между стволами башен, – это другие башни, а если случится просвет и между ними, в нем уж точно не высмотреть ничего, кроме башен еще более далеких.

Живую горизонт не слишком отличается от того, что нам показывают на настенных экранах. Конечно, внутри ты всегда знаешь, что перед тобой просто картинка или проекция, что настоящий горизонт – слишком ценный ресурс, что оригинал достается лишь тем, кто способен за него платить, а остальным хватит и репродукции на карманном календарике.

Я зачерпываю горсть мелкого белого песка. Он такой нежный, что мне хочется приложиться к нему губами.

– Вы не отвечаете на мои вопросы, – делает мне замечание она.

– Простите. Что вы спрашивали?

Пока она прячется за своими стрекозиными очулярами, нет никакой возможности определить, действительно ли ей интересно мое мнение, или она просто исполнительно развлекает меня, как распорядился ее муж.

Ее загорелые голени, оплетенные золотыми ремешками высоких сандалий, сияют отражением солнца. Лак на ногтях – цвета слоновой кости.

– Как вам у нас?

У меня готов ответ.

Я тоже должен был бы родиться беспечным лоботрясом в этом райском саду, принимать солнечные лучи как должное, не видеть стен и не бояться их, жить на воле, дышать полной грудью! А вместо этого...

Я совершил одну-единственную ошибку – вылез не из той матери – и теперь всю свою бесконечную жизнь должен за это расплачиваться.

Я молчу. Я улыбаюсь. Я умею улыбаться.

– У вас тут похоже на огромные песочные часы. – Я широко улыбаюсь госпоже Шрейер, просеивая белые крупинки и жмурясь на солнце, которое висит в зените, точно над стеклянным куполом.

– Вижу, для вас время все еще течет. – Она, наверное, глядит на струящийся меж моих пальцев песок. – Для нас-то оно давно остановилось.

– О! Даже время бессильно перед богами.

– Это вы называете себя Бессмертными. А я простой человек, из плоти и крови, – не слыша издевки, возражает она.

– Однако шансов умереть у меня куда больше, чем у вас, – замечаю я.

– Но вы же сами выбрали эту работу!

– Ошибаетесь, – улыбаюсь я. – Можно сказать, что работа выбрала меня.

– Значит, убивать – ваше призвание?

– Я никого не убиваю.

– А я слышала обратное.

– Они делают свой выбор сами. Я всегда следую правилам. Технически я, конечно...

– Как скучно.

– Скучно?

– Я думала, вы убийца, а вы бюрократ.

Мне хочется сорвать с нее шляпу и намотать ее волосы на кулак.

– А вот сейчас вы смотрите на меня как убийца. Вы уверены, что всегда следуете правилам?

Она сгибает одну ногу в колене, тень захватывает больше места, воронка расширяется, теперь я на самом ее краю, сердце тянет, в груди вакуум, вот-вот ребра начнут проламываться внутрь... Как эта избалованная дрянь проделывает такое со мной?

– Правила снимают ответственность, – взвешенно произношу я.

– Бойтесь ответственности? – Она вздергивает бровь. – Неужели вам все же жаль всех этих бедолаг, которых вы...

– Послушайте, – говорю я. – Вам, наверное, никогда не приходило в голову, что в таких условиях, как вы, живут не все? Вам, может быть, неизвестно, что четыре квадратных метра на человека – норма даже на приличных уровнях? А вы помните, сколько стоит литр воды? А почему киловатт? Простые люди из плоти и крови ответят на этот вопрос, не задумываясь ни на секунду. И все они знают, почему вода, энергия и пространство столько стоят. Из-за этих ваших бедолаг, которые, не присматривая мы за ними, окончательно обрушат и экономику, и башни. Включая и вашу башню из слоновой кости.

– Вы очень красноречивы для головореза. Хотя я узнаю в вашем пламенном выступлении целые пассажи из выступлений моего мужа. Надеюсь, вы не забыли, что ваше будущее в его руках? – холодно интересуется она.

– С моей работой привыкаешь больше ценить настоящее.

– Ну да... Когда ежедневно ворует будущее у других... Пресыщаешься им, видимо?

Я поднимаюсь со своего места. Сука господина Шрейера словно достала из-за пазухи набор игл и втыкает их в меня одну за другой, стараясь угадать все мои болевые точки. И я не собираюсь терпеть ее сучью акупунктуру.

– Что вы улыбаетесь? – Ее голос звенит.

– Думаю, мне пора. Передайте господину Шрейеру, что...

– Вам опять жарко? Или тесно? А вы представьте себя на месте этих людей. Ведь вы караете их только за то...

– Я не могу оказаться на их месте!

– Ах да, этот ваш монашеский обет...

– Дело не в нем! Просто я понимаю, какую цену платим мы все из-за того, что кто-то не может сдержаться! Я сам плачу ее! Я, а не вы!

– Не врите себе! Вы просто не можете понять этих людей, потому что вы – кастрат!

– Что?!

– Вам же не нужны женщины! Вы заменяете их своими таблетками! Разве не так?

– Какого черта?! Все, с меня хватит!

– Вы ведь такой же, как они все! Идеальный импотент! Смейтесь, смейтесь! Вы знаете, что я говорю правду!

– Тебе нужно, чтобы я...

– Вы... Что?! Отпустите...

– Ты хочешь, чтобы...

– Отпусти! Тут везде наблюдение... Я... Не смей!

– Эллен! – рокочет в глубине сада вельветовый баритон. – Дорогая, где вы?

– Мы на пляже! – Она не сразу успевает стряхнуть со своего голоса хрипотцу, и ей приходится через миг переговаривать все заново. – Мы тут, Эрих, на пляже!

Госпожа Шрейер оправляет смятое кофейное платье и за секунду до того, как ее муж появляется из зарослей, успевает дать мне пощечину – злую, настоящую.

Теперь я ее заложник; чего мне ждать от этой суки? Отчего она так вдруг на меня взъярилась? Что вообще только что между нами произошло? Я так и не увидел ее глаз, хотя шляпа лежит, сброшенная, на песке. Медовые волосы на плече...

– А... Вот вы где!

Он выглядит именно так, как на экранах, в новостях: совершенно. Со времен римских патрициев такое благородство черт возвращалось на грешную землю только единожды – в Голливуд пятидесятих годов двадцатого века, чтобы потом снова исчезнуть на долгие столетия. И вот – новое пришествие. И последнее, потому что Эрих Шрейер не умрет никогда.

– Эллен... Ты даже не предложила нашему гостю коктейли?

Я смотрю мимо нее – на песок: вокруг шезлонгов он вспахан, как арена боя быков.

– Господин сенатор... – Я склоняю голову.

В его зеленых глазах – спокойная доброжелательность уберменша и сдержанное энтомологическое любопытство. Похоже, господин Шрейер не обратил внимания ни на отброшенную шляпу, ни на следы на песке. Наверное, он вообще редко глядит себе под ноги.

– Не надо этого... Обращайтесь ко мне по имени. Вы же у меня дома, а дома я – просто Эрих.

Теперь я киваю молча, не называя его никак.

– В конце концов сенатор – это ведь просто одна из ролей, которые я играю, так? И не самая важная. Приходя домой, я выбираюсь из нее, как из делового костюма, и вешаю в прихожей. Мы все просто играем свои роли, и всем нам наши костюмы подчас натирают...

– Простите, – не выдерживаю я. – Никак не могу вылезти из своего. Боюсь, это моя шкура.

– Не бойтесь. Шкуру можно спустить. – Шрейер дружески подмигивает, подбирая брошенную шляпу. – Вы успели осмотреться в моих владениях?

– Нет... Мы тут разговорились с вашей супругой...

Госпожа Шрейер не смотрит на меня. Похоже, она еще не определилась, казнить ей меня или миловать.

– Ничем более ценным я и не владею, – смеется он, передавая ей полосатую шляпу. – Коктейли, Эллен. Мне – «За горизонт», а... вам?

– Текилу, – говорю я. – Нужно освежиться.

– О! Вечный напиток... Текилу, Эллен. Она изображает покорный поклон.

Конечно, это знак особого внимания, как и то, что Шрейер попросил свою жену встретить меня. Внимания, которого я не заслужил – и не уверен, что смогу заслужить.

Я вообще противник жизни в кредит. Приобретаешь нечто, что тебе принадлежать не должно, а расплачиваешься тем, что больше не принадлежишь сам себе. Идиотская концепция.

– О чем задумались?

– Пытаюсь понять, зачем вы меня вызвали.

– Вызвал! Послушай, Эллен, а? Я вас пригласил. Пригласил познакомиться.

– Зачем?

– Из любопытства. Мне интересны такие люди, как вы.

– Таких людей, как я, сто двадцать миллиардов в одной Европе. Вы принимаете по одному в день? Я понимаю, что вы не ограничены во времени, и все же...

– Кажется, вы нервничаете. Устали? Слишком долго к нам добирались?

Это он про лифты говорит. Знает про некоторые мои особенности. Наверное, читал мой личный файл. Тратил время.

– Сейчас пройдет. – Я опрокидываю дабл-шот текилы.

Кислый желтый огонь, расплавленный янтарь, наждаком по глотке. Чудесно. Вкус странный. Не похоже на синтетику. Не похоже вообще ни на что из известного мне, и это настораживает. Я-то считал себя знатоком.

– Что это? «Ла Тортуга»? – пытаюсь угадать я.

– Нет, что вы! – Он ухмыляется.

Протягивает мне кусок лимона. Любезничает. Я качаю головой. Для тех, кто не любит огонь и наждак, есть коктейль «За горизонт» и прочие сласти.

– Вы читали мой личный файл? – Трещины на моих губах жжет спиртом. Я облизываю их, чтобы щипало подольше. – Польщен.

– Положение обязывает, – разводит руками Шрейер. – Вы же знаете, Бессмертные находятся под моей опекой.

– Опекой? Только вчера вот слышал в новостях, как вы обещали расформировать Фалангу, если народ этого потребует.

Эллен поворачивает свои окуляры в мою сторону.

– Меня иногда упрекают в беспринципности, – подмигивает мне Шрейер. – Но у меня есть железный принцип: говорить каждому то, что он хочет от меня услышать.

Весельчак.

– Не каждому, – возражает госпожа Шрейер.

– Я о политике, любовь моя, – лучезарно улыбается ей господин Шрейер. – В политике иначе не выжить. Но семья – единственная тихая гавань, в которой мы можем побыть сами собой. Где, как не в семье, мы можем и должны быть искренны?

– Звучит прекрасно, – произносит она.

– Тогда, с твоего позволения, я продолжу, – мурлычет он. – Так вот. Люди, которые верят новостям, обычно хотят верить и тому, что государство заботится о них. Но расскажи мы им, как именно государство о них заботится, – им станет не по себе. Все, что они хотят услышать: «Не волнуйтесь, у нас все под контролем, в том числе и Бессмертные».

– Эти сорвавшиеся с цепи штурмовики.

– Они просто хотят, чтобы я их успокоил. Чтобы я заверил их, что в Европе, с ее вековыми устоями демократии и почитания прав человека, Бессмертные – просто вынужденное, временное явление.

– Вы умеете внушить уверенность в завтрашнем дне. – Я слышу, как во мне открывается шлюз, сливая текилу прямо в кровь. – Знаете, мы ведь тоже смотрим новости. Вам кричат, что Бессмертные – погромщики, с которыми давно пора покончить, а вы только улыбаетесь. Как будто бы не имеете к нам никакого отношения.

– Вы очень точно сформулировали! Как будто бы мы не имеем к Фаланге никакого отношения. Зато мы даем вам полный карт-бланш.

– И объявляете, что мы совершенно неуправляемы.

– Вы же понимаете... Наше государство основано на принципах гуманности! Право каждого на жизнь свято, как и право на бессмертие! Европа отказалась от смертной казни столетия назад, и мы никогда не вернемся к ней, ни под каким предлогом!

– А вот теперь я снова узнаю того другого вас, из новостей.

– Я не думал, что вы так наивны. С вашей работой...

– Наивен? Знаете... Просто с нашей работой часто хочется поговорить с людьми из новостей, которые макают нас в дерьмо. И вот – редкий случай.

– Не думаю, что вам удастся со мной поспорить. – Шрейер усмехается. – Помните? Я же всегда говорю людям то, что они хотят от меня услышать.

– И что, по-вашему, хочу услышать я?

Шрейер втягивает свой фосфоресцирующий пажонский коктейль – через соломинку, из шарообразного бокала, который нельзя поставить, не опустошив.

– В вашем файле значится, что вы исполнительны и честливы. Что вы правильно мотивированы. Приводятся примеры вашего поведения при операциях. Все выглядит очень неплохо. Выглядит так, словно вас ждет большое будущее. Но продвижение по служебной лестнице у вас будто бы застопорилось.

Уверен, что в моем файле про меня есть немало и такого, о чем господин Шрейер предпочитает не упоминать, – возможно, пока не упоминать.

– Поэтому, предполагаю, вам хотелось бы услышать о повышении. Я кусаю щеку; молчу, стараясь не выдать себя.

– А так как я всегда следую своему принципу, – опять эта дружеская улыбка, – то и говорить с вами собираюсь об этом.

– Почему вы?... Назначения в компетенции командующего Фаланги. Разве не он...

– Конечно, он! Конечно, старина Риккардо. Назначает он! А я просто разговариваю. – Шрейер машет рукой. – Вы сейчас правая рука командира звена. Так? Вас рекомендуют повысить до командира бригады.

– Десять звеньев? В моем распоряжении? Рекомендует кто?

Кровь с текилой стучится мне в голову. Это повышение через две ступени. Я выпрямляю спину. Я чуть не нагнул его жену и не разбил морду ему самому. Чудесно.

– Рекомендуют, – кивает господин Шрейер. – Что думаете?

Командовать бригадой – значит, перестать самому месить бутсами человеческие судьбы. Командовать бригадой – значит, выбраться из моей гнусной халупы в жилище попросторней... Ума не приложу, кто там может меня рекомендовать.

– Думаю, что я этого не заслужил. – Слова даются мне тяжело.

– Вы думаете, что вы заслужили это давным-давно, – говорит господин Шрейер. – Еще текилы? Вы выглядите несколько рассредоточенно.

– У меня ощущение, что мне собираются всучить пожизненный кредит. – Я качаю разбухшей головой.

– А кредиты вы не любите, – подхватывает Шрейер. – Так сказано в вашем файле. Но это не кредит, не переживайте. Оплата вперед.

– Не представляю, как я мог бы вас подкупить.

– Меня? Ваш долг – не перед каким-то сенатором. Ваш долг – перед обществом. Перед Европой. Ладно, урежем прелюдию. Эллен, ступай в дом.

Она не сопротивляется, на прощание вручая мне еще один дабл-шот. Шрейер провожает ее странным взглядом. Улыбка отклеилась и слетела с его губ, и на какой-то миг он забывает надеть на свое красивое лицо другое выражение. Долю секунды я вижу его настоящим – пустым. Но, обращаясь ко мне, он снова весь лучится.

– Фамилия Рокамора вам, должно быть, знакома?

– Активист Партии Жизни, – киваю я. – Один из руководителей...

– Террорист, – поправляет меня Шрейер.

– Тридцать лет в розыске...

– Мы его нашли.

– Арестовали?

– Нет! Нет, конечно. Вообразите себе: полицейская операция, куча камер, Рокамора сдается, конечно, и тут же он – во всех новостях. Начинается процесс, мы вынуждены сделать его открытым, все болтуны мира подражаются защищать его бесплатно, чтобы покрасоваться на экранах, он использует суд как трибуну, становится звездой... Словно я переел на ночь и вижу кошмар. А у вас?

Я пожимаю плечами.

– Рокамора – второй по важности человек в Партии Жизни, сразу после Клаузевица, – продолжает Шрейер. – Они и их люди пытаются подорвать устои нашей государственности. Сломать хрупкий баланс... Обрушить башню европейской цивилизации. Но мы еще можем нанести превентивный удар. Вы можете.

– Я? Каким образом?..

– Система оповещения выявила его. Его подруга беременна. Он находится вместе с ней. Декларировать, судя по всему, они ничего не собираются. Отличный шанс для вас попробовать себя в качестве звеньев.

– Хорошо. – Я размышляю. – Но что мы можем сделать по нашей линии? Даже если он сделает выбор... Обычная нейтрализация. После укола он проживет еще несколько лет, возможно, все десять...

– Это если все пойдет по правилам. Но когда загоняешь такого крупного зверя, надо готовиться к сюрпризам. Операция опасная, сами понимаете. Может случиться все, что угодно!

Шрейер кладет руку на мое плечо.

– Вы же меня понимаете? Дело щепетильное... Подруга на четвертом месяце... Обстановка напряженная, он сам не свой... Внезапное вторжение звена Бессмертных... Он отважно бросается защищать возлюбленную... Хаос... Не поймешь уже, как все и случилось. А свидетелей, кроме самих Бессмертных, не осталось.

– Но ведь то же самое может сделать и полиция, разве нет?

– Полиция? Представляете себе скандал? Хуже – только повесить этого гада в тюремной камере. А Бессмертные – другое дело.

– Совершенно неуправляемые, – киваю я.

– Погромщики, с которыми давно пора покончить. – Он прикладывает к бокалу. – Ваше мнение?

– Я не убийца, что бы вы там ни говорили про меня своей жене.

– Поразительное дело, – мурлычет он благодушно. – Я так внимательно разбирал ваш файл. Там много о ваших качествах, но про щепетильность – ни слова. Возможно, это что-то новое. Я, пожалуй, сам дополню дело.

– Будете дополнять, назовите это «чистоплотностью». – Я смотрю ему в глаза.

– Пожалуй, даже «чистоплюйством».

– Бессмертные должны следовать Кодексу.

– Рядовые Фаланги. Простые правила – для простых людей. Те, кто командует, должны проявлять гибкость и инициативу. И те, кто хотел бы командовать.

– А его подруга? Она имеет отношение к Партии Жизни?

– Понятия не имею. Вам не все равно?

– Ее тоже надо?

– Девчонку? Да, конечно. Иначе ваша версия событий может оказаться под вопросом.

Я киваю – не ему, сам себе.

– Я должен принять решение сейчас?

– Нет, у вас есть в запасе пара дней. Но хочу сказать вам: у нас есть и другой кандидат на повышение.

Он дразнит меня, но я не могу сдержаться.

– Кто это?

– Ну-ну... Не ревнуйте! Вы, может быть, помните его под личным номером. Пятьсот Три. Я улыбаюсь и опрокидываю двойной шот разом.

– Здорово, что у вас такие приятные воспоминания об этом человеке, – улыбается в ответ Шрейер. – Должно быть, в детстве нам все кажется гораздо более приятным, чем оно является в действительности.

– Пятьсот Третий разве в Фаланге? – Мне становится тесно даже тут, на их гребаном летучем острове. – Ведь по правилам...

– Всегда бывают исключения из правил. – Шрейер перебивает меня учтивым оскалом. – Так что у вас будет приятный компаньон.

– Я возьмусь за это дело, – говорю я.

– Ну и прекрасно. – Он не удивлен. – Хорошо, что я нашел в вас человека, с которым можно говорить по существу и начистоту. Такую искренность я позволяю себе не со всеми. Еще текилы?

– Давайте.

Он сам отходит к переносному пляжному бару, плещет мне из початой бутылки в квадратный стакан огня на два пальца. Через открытую секцию купола на остров залетает прохладный ветер, ерошит пластиково-сочные кроны. Солнце начинает скатываться в тартарары. Голова моя схвачена обручем.

– Знаете, – говорит господин Шрейер, передавая мне бокал, – вечная жизнь и бессмертие – это ведь не одно и то же. Вечная жизнь тут. – Он притрагивается к своей груди. – А бессмертие здесь. – Его палец касается виска. – Вечная жизнь, – он ухмыляется, – включена в базовый соцпакет. А бессмертие доступно только избранным. И думаю... Думаю, вы бы могли достичь его.

– Достичь? Разве я не уже один из Бессмертных? – шучу я.

– Разница такая же, как между человеком и животным. – Он вдруг снова являет мне свое пустое лицо. – Очевидная человеку и неочевидная животному.

– Значит, мне еще предстоит эволюция?

– Увы, само собой ничего не происходит, – вздыхает Шрейер. – Животное из себя надо вытравливать. Вы, кстати, не принимаете таблетки безмятежности?

– Нет. Сейчас нет.

– Очень зря, – добродушно укоряет меня он. – Ничто так не поднимает человека над собой, как они. Советую попробовать снова. Ну что ж... На брудершафт?

Мы чокаемся.

– За твое развитие! – Шрейер высасывает содержимое своего шара до дна, опускает его на песок. – Спасибо, что пришел.

– Спасибо, что позвали, – улыбаюсь я.

Когда бог ласково говорит с мясником, для последнего это скорее означает грядущее заклание, чем приглашение в апостолы. И кто, как не мясник, сам играющий в бога со скотиной, должен бы это понимать.

– Что же это? «Франсиско де Орелльяна»? – Я впускаю в пустой стакан лучи заходящего солнца, гляжу на просвет.

– «Кетцалькоатль». Ее лет сто, как не производят уже. Я не пью, но говорят, вкус изысканный.

– Не знаю. – Я повожу плечами. – Главное – эффект.

– Ну да. И еще на всякий случай... Если вдруг будешь колебаться. Пятьсот Третьего мы туда тоже отправим. Не явишься ты, придется отрабатывать ему. – Он вздыхает, как бы показывая, насколько ему был бы неприятен этот вариант. – Эллен тебя проводит. Эллен!

На прощание он жмет мне руку. У него хорошее рукопожатие и приятная ладонь – крепкая, сухая, гладкая. При его работе это наверняка полезно, хотя и ровным счетом ни о чем не говорит. Об этом я знаю по работе собственной – а через меня человеческих рук тоже проходит немало.

Он остается на пляже, а госпожа Шрейер – без шляпы – эскортирует меня к лифту. Скорее даже буксирует – учитывая мое состояние и то, что она по-прежнему плывет впереди, а я гребу в ее кильватере.

– Ничего не хотите сказать? – интересуется ее спина.

Все происходящее со мной сегодня решительно ничем не напоминает реальность, и это придает мне нездорового легкомыслия.

– Хочу.

Мы уже в доме. Комната с темно-красными стенами. На одной из них – огромное золотое лицо Будды, выпуклое, все в паутине трещин, глаза закрыты, веки разбухли от накопившихся за тысячу лет снов. Под Буддой – широкая тахта, обитая вытертой черной кожей.

Она оборачивается.

– Что же?

– Вы не зря тут живете. Под этим вашим куполом. Загар действительно очень... – Я провожу взглядом по ее ногам – от сандалий до отреза платья. – Очень-очень ровный. Очень. Эллен молчит, но я вижу, как вздымается под кофейной тканью ее грудь.

– Кажется, вам немного жарко, – замечаю я.

– Мне немного тесно. – Она поправляет ворот своего платья.

– Ваш муж рекомендовал мне принимать таблетки безмятежности. Считает, что надо вытравливать из меня животное.

Госпожа Шрейер медленно, словно сомневаясь, поднимает руку, берется за оправу и снимает очки. Глаза у нее зеленые, охваченные карим ободком, но какие-то будто матовые, будто изумруды слишком долго без внимания пролежали на витрине. Высокие скулы, чистый от морщин лоб, тонкая переносица. Без очков, как без панциря, она кажется совсем хрупкой – той приглашающей, вызывающей женской хрупкостью, которую мужчине хочется изорвать, расцарапать, затоптать.

Я оказываюсь рядом с ней.

– Не надо, – говорит она.

Беру ее за кисть – сильнее, чем надо, – и зачем-то тяну вниз. Не знаю, хочу ли я сделать ей приятно или больно.

– Больно. – Она пытается высвободиться. Я отпускаю ее. Она делает шаг назад.

– Уходите.

До самого лифта Эллен молчит, а я созерцаю ее затылок, наблюдаю, как льется и сияет мед. Я чувствую, как из-за моей неуклюжести, неверного движения спонтанная сила тяготения, почти столкнувшая нас, нечаянных, в космическом пространстве, слабнет, как траектории наших судеб вот-вот растащат нас друг от друга на сотни световых лет.

Но собираюсь с мыслями я, только когда уже стою в кабине.

– Чего не надо?

Эллен чуть прищуривается. Она не переспрашивает. Она помнит свои слова, обдумывает их.

– Оставьте это свое животное в покое, – произносит она. – Не надо его травить.

Двери закрываются.

Глава II. Водоворот

Мне нельзя здесь находиться. Но я слишком взбудоражен, чтобы идти домой, и слишком пьян, чтобы сдержаться, поэтому я тут. В купальных «Источник».

Отсюда, из моей чаши, кажется, что купальни занимают всю Вселенную.

Сотни больших и малых бассейнов «Источника» веерными каскадами поднимаются к теплему вечернему небу. Чаши бассейнов сообщаются прозрачными трубами. Из помещений для переодевания подъемником взбираешься по стометровому стеклянному стволу, на котором и зиждется вся эта фантазмагория, на самую вершину конструкции – и попадаешь в обширный бассейн. А из него уже можно с пенистыми ручьями сплавляться по расходящимся в разные стороны трубам вниз, от одной чаши – к другой, пока не найдешь такую, где захочется остаться.

Каждая чаша, заполненная морской водой, пульсирует своим цветом и в такт той мелодии, которая играет внутри ее. Но какофонии не возникает: управляемые одним дирижером, тысячи чаш играют грандиозным оркестром, и из их разноголосицы выплывает симфония. Чаши, как и трубы, – прозрачны; если смотреть на них сверху, они кажутся соцветиями на ветвях древа мироздания, если глядеть снизу – сонмами радужных мыльных пузырей, которые ветер уносит в преднощную синь. И многоцветное свечение этих пузырей тоже согласовано, синхронизировано: гроздь висящих в пустоте бассейнов, перевернутых стеклянных куполов то принимают общий оттенок, то начинают передавать друг другу по трубам сначала один цвет, а потом другой – как будто огонь взбегаet вверх по хрустальному баобабу, соединяющему землю с небесами.

Стоит он посреди зеленого горного плато, окруженного заснеженными отрогами; солнце якобы только что скрылось за самым дальним из них. Конечно, и седые пики, и оцепленная ими равнина под мшистым ковром, и гаснущее небо – просто проекции. Ничего этого нет, а есть только громадный кубический бокс, в центре которого установлено гидромеханическое сооружение из псевдостекла, прозрачного композита.

Но подделку замечаю только я, потому что сегодня я видел настоящее небо и настоящий горизонт. Остальных, конечно, ничто не смущает. Разрешение и объемность у проекций таковы, что человеческий глаз не способен различить подделку уже с пары десятков метров. Ничего; люди не заходят за ажурные ограждения, которыми обозначаются пределы комфортного самообмана.

Я и сам хочу поверить в эти горы и в это небо; и во мне довольно текилы, чтобы граница между проекцией и реальностью таяла.

Словно сонные тропические рыбки в аквариумах, нежатся в чашах бассейнов купальщики в ярких тряпках. «Источник» – пиршество для глаз, сады свежести, красоты и желания, храм вечной юности.

Тут нет ни единого старика и ни одного ребенка: посетители «Источника» не должны испытывать ни малейшего морального и эстетического дискомфорта. Пусть те обитают в своих резервациях, где никого не смущают их отклонения, а стеклянные сады открыты только для тех, кто сохраняет свои молодость и силу.

Девушки и юноши приходят сюда и поодиночке, и парами, и большими группами; любой, спускаясь вниз по трубам, может подобрать чашу себе по вкусу. С музыкой, которая созвучна его настроению. С размерами, подходящими для уединенного созерцания или для любовного слияния, или для дружеских игр. С соседями молчаливыми, не проявляющими к другим никакого интереса, или с теми, кто пришел сюда за приключениями и электризует всю чашу.

Ветви хрустального баобаба – путанный лабиринт, и в нем можно забраться в такие уголки, в которых никто не потревожит. Но не всех смущают чужие взгляды – есть тут искатели, кото-

рые, едва заискрив между собой, сплетаются похотливым жгутом в шаге от случайных свидетелей, нечаянно касаясь их в страстной судороге, короткими всхлипами или сдавленным стоном одних заставляя отворачиваться, других – привлекая к себе.

Для обычных людей купальни – супермаркет удовольствий, аттракцион счастья, один из самых любимых способов препровождения вечности.

Но для таких, как я, они порочны – и запретны.

Я полулежу в небольшой чаше примерно посредине нарисованного мира, и половина пузырей-бассейнов парит высоко над моей головой, в то время как другая половина раскинулась внизу. Запах ароматических масел – чувственный, тяжелый – пропитывает воздух. Оболочка моего бассейна сейчас приглушенно вспыхивает фиолетовым, акустика прямо сквозь кожу притрагивается к моим органам негромкими, но проникающими басами; музыка спокойная и тягучая, но вместо того, чтобы убаюкивать, она возбуждает воображение.

Сквозь стекло я вижу чашу внизу – в ней морскими звездами раскинулись две молодые девушки, держась за руки – лишь указательными пальцами, – они словно парят в воздухе.

У одной, смуглой, через желто-флюоресцирующую ткань купальника проступают коричневые пятнышки сосков. Другая, рыжая с молочно-белой кожей, прикрывает обнаженную грудь рукой; волосы, разметанные по воде, потемневшим нимбом обрамляют ее узкое, немного детское лицо. Она смотрит вверх, на поднимающиеся в небо мерцающие стеклянные шары, в какой-то миг мы встречаемся глазами. И вместо того чтобы отвести взгляд, она медленно улыбается мне.

Я возвращаю ей улыбку и отворачиваюсь, закрываю глаза. Течение соленой воды чуть покачивает меня, и текила морским прибоем шумит в ушах. Я знаю, что могу сейчас соскользнуть вниз по трубе и через несколько мгновений тоже держать рыжеволосую девчонку за руку, знаю, что она не откажется от своих безмолвных обещаний. Купальни – место, куда приходят за всплеском и за выплеском; раньше с той же целью люди посещали ночные клубы. В прозрачных чашах топят свое одиночество, разбавляют его поспешными знакомствами, горячечными стремительными схватками; но внезапная близость заставляет нас чувствовать себя неловко, и мы бежим от этой неловкости, друг от друга – вниз, прочь по стеклянным трубам.

Мы? Я причислил себя к ним. Нет, не мы, а они.

Нам, Бессмертным, вход в купальни воспрещается кодексом чести. Рассадник разврата – так они называются в правилах.

Дело, конечно, не в том, что мы можем оказаться подвержены сиюминутному вертиго, дело не в коротком отчаянном сцеплении половых органов, а в том, что может стать результатом такого сцепления. В конце концов, предписание Бессмертным принимать таблетки безмятежности – пока что лишь настоятельная рекомендация. Животная природа, которую стараются извести в нас сенатор и прочие покровители Фаланги, ими нехотя признается. Для нас открыты спецбордели со шлюхами, умеющими выполнять любые заказы и оберегать любые секреты. Но за их пределами мы должны вести себя как кастраты.

Я должен. Что я здесь делаю? Что я тут ищу, Базиль?

Брызги!

Взрыв смеха – девичьего, чистого, звонкого. Совсем рядом. В моей чаше, где я хотел спрятаться ото всех – и надеялся быть обнаруженным. Еще фонтан. Я молчу, терплю, притворяюсь спящим.

Шепот – решают, двинуться ли дальше, вниз по каскадам, или остаться тут. Второй голос – мужской. Обсуждают меня. Девушка хихикает.

Я притворяюсь, что меня их игра совершенно не интересует.

По трубе ко мне в бассейн примчались двое. У парня оливковая кожа, глаза цвета анодированного алюминия, руки дискобола и смоляной чуб; девушка – негритянка, точеная. Остриженная коротко, как у джазовой певицы, головка посажена на высокую шею. Худые плечи.

Грудь-яблоко. Сквозь дрожащую воду мускулистый живот и узкие бедра колеблются, мерещатся, словно их только вот-вот отлили из эбонитового композита и они еще не успели принять окончательную форму.

Они прижимаются к бортику с моей стороны чаши, хотя противоположная никем не занята. Я решаю: они так сделали, чтобы я не мог за ними наблюдать. И хорошо. Думаю даже сплавиться дальше, оставив их наедине, но... Остаюсь.

Закрываю глаза, растворяю в морской воде минуту своей жизни, потом еще одну. Ничего сложного: теплая соленая вода может разжесть бесконечно много времени. Может, поэтому все купальни и заполнены круглые сутки, несмотря на свою дороговизну.

Снова смех негритянки – но теперь он звучит иначе: приглушенно, смущенно. Шлепки по воде – шуточная борьба. Всклип. Вскрик. Тишина. Что там у них?

По воде плывет кусочек материи, топ ее купальника – неприлично алый, и алым цветом возбужденно пульсирует чаша. Тряпица подплывает к устью трубы, задерживается на секунду, будто на краю водопада, – и уносится вниз.

Хозяйка не замечает его потери. Распятая, прижатая своим другом к борту бассейна, она медленно открывается ему. Я вижу, как ее сведенные плечи постепенно расслабляются, отступают назад, как она принимает его натиск. Бурлит вода. Всплывают еще кусочки ткани. Он разворачивает ее спиной – и зачем-то лицом ко мне. Глаза у нее полуприкрыты, затуманены. Сахар зубов сквозь вывернутые африканские губы.

– Ах...

Я сначала ищу ее взгляда, а когда наконец вылавливаю его, смущаюсь. Оливковый атлет подталкивает ее ко мне – еще, еще, с налаживающимся ритмом. Ей не за что держаться, и она оказывается ко мне все ближе; мне нужно было бы уйти, мне нельзя, но я остаюсь, сердце бьется.

Теперь она заглядывает мне в глаза – хочет установить связь. Зрачки блуждают, она смотрит на мои губы... Я отворачиваюсь.

Тут везде наблюдение, говорю я себе. Остановись. Здесь за всеми смотрят. Тебя вычислят. Ты не должен даже находиться тут, а уж если...

В новом мире люди не стесняются своего естества, они готовы выставлять себя напоказ, интимность стала публичностью. Им нечего скрывать, не от кого. Семья после введения Закона о Выборе потеряла смысл. Она как зуб, в котором стоматолог убил нерв: через некоторое время сама собой сгнила и развалилась.

Все. Пора, пока не поздно. Ухожу. Уплываю.

– Ну... – шепчет она. – Ну пожалуйста... Ну... Бросаю взгляд. Только один.

Толчок... Толчок... Она в шаге от меня. Слишком близко, чтобы не соскользнуть... Я на самом краю... Тянется ко мне... Вытягивает свою шею... Не может дотянуться.

– Ну...

Я уступаю. Встречаю ее.

Она пахнет фруктовой жвачкой. Губы у нее мягкие, как мочка уха.

Целую ее, доступную, просящуюся. Беру ее за затылок. Ее пальцы сбегая вниз по моей груди, по животу, неуверенно – и там царапают меня. Ее настигает боль, соленая и сладкая, и она хочет поделиться ею. Ее сбивчивый, бессмысленный шепот громче слаженного пения тысячи чаш.

Еще чуть, и я пропал.

И тут откуда-то сверху доносится визг. Отчаянный, истошный – я таких никогда не слышал, разве что на работе. Он нарушает гармонию музыки купален, и его мечущееся эхо не дает ей восстановиться. А сразу вслед за этим визгом – еще один, а потом целый хор испуганных вскриков.

Наше трио распадается. Негритянка растерянно жметя к дискоболу, я вглядываюсь вверх, в загадочную возню, которая разворачивается над нашими головами, в одном из бассейнов. Люди пихают друг друга, что-то кричат – но слов не разобрать. Потом выбрасывают в трубу что-то белесое, грузное – и оно медленно съезжает в чашу уровнем ниже. Через секунду тех, кто блаженствовал в ней, заражает паника. Сцена повторяется: женские вопли, возгласы отвращения, кутерьма. Потом мельтешащие тела вдруг застывают, словно парализованные.

Там происходит что-то странное и страшное, и я никак не могу понять, в чем дело. Кажется, будто в бассейн попало какое-то омерзительное животное, монстр, что оно медленно скользит по трубам к нам, по пути заражая безумием всех, кто на него взглянет.

Новый всплеск шумной борьбы – и нечто покидает бурлящую чашу, ползет дальше. На секунду мне кажется, что это человек... Но вот движение... Оно вяло плюхается в бассейн над нами. Что это может быть? Оболочка чаши мерцает темно-синим, она почти непроницаема, и мне опять не удается понять, что же такое идет к нам. Даже находящиеся там люди не сразу осознают, что видят перед собой. Притрагиваются к нему...

– Господи... Это же...

– Убери это! Убери это отсюда!

– Да это...

– Не трогай его! Пожалуйста! Не надо!

– Что делать? Что с этим делать?!

– Убери! Не надо его тут!

Наконец странное создание выпихивают из чаши, и оно неспешно приближается к нашей. Я загораживаю спиной стриженую девчонку и ее дискобола; они совсем потеряны, но парень хорохорится. Что бы там ни ползло к нам, я подготовлен к встрече лучше их обоих.

– Черт...

У меня наконец получается рассмотреть его. Тяжелый тугой мешок, голова болтается, будто чужая и пришитая, конечности противоестественно вывернуты, то загибают, то вроде бы цепляются, словом, творят что вздумается, – каждая независима. Неудивительно, что он сеет вокруг себя такую панику. Это мертвец.

И вот он втаскивается в мой бассейн – ныряет с головой, лицом вниз, и сидит под водой. Его руки висят на уровне груди и, привязанные к нитям циркулирующих через купальни потоков, чуть заметно пошевеливаются: туда-сюда, туда-сюда. Кажется, что это он дирижирует бездушным хором купален. Глаза у него открыты.

– Что это? – ошарашенно бормочет дискобол. – Он что...

– Он умер? Он умер, да?! – У его подружки истерика. – Он умер, Клаудио! Он умер!

Девчонка замечает, что мертвец смотрит – в никуда, созерцательно, – но ей чудится, что он бесстыдно разглядывает под водой ее прелести. Она сначала прикрывает срам руками, а потом не выдерживает и бросается вниз по трубе – в чем мать родила, лишь бы избавиться от кошмарного соседства. Дискобол крепится – не хочет показаться трусом, но и его потряхивает.

Естественно. Они ведь никогда не встречались со смертью – как и все те, кто до них вытаскивал труп из своих бассейнов. Они не знают, что с ней делать. Они считают ее уродливым пережитком, они знают о ней из исторического видео, или по новостям из какой-нибудь России, но никто из их близких и дальних знакомых никогда не умирал. Смерть отменили много столетий назад, победили ее, как побеждали до этого черную оспу или чуму; и как черная оспа, в их представлении смерть существует где-то в герметичных резервациях, в лабораториях, откуда не сможет никогда вырваться – если они сами не призовут ее на себя. Если они будут жить, не нарушая Закон.

А она выбирается оттуда, словно пройдя сквозь стены, и заявляется непрошенная в их сады вечной юности. Равнодушный и жуткий Танатос вторгается в царство грез Эроса, как

хозяин усаживается в самую середину и глядит своими мертвыми глазами на молодых любовников, на их разгоряченные срамные места, и те увядают под его взглядом.

В тени мертвеца живые вдруг теряют уверенность, что сами не умрут никогда. Они пытаются оттолкнуть его от себя, выпихивают его – и тем самым помогают ему продолжить свое шествие. И чумной гонец уходит дальше.

А я не прогоняю его. Загипнотизированный, я смотрю Танатосу в лицо.

Наверное, проходит всего несколько секунд, но в тени мертвеца время замерзает, застывает.

– Что делать? – лепечет Клаудио; он все еще тут, хотя из оливкового и превратился в серого.

Подплываю к телу, изучаю. Блондин, полноватый, лицо напуганное, веки вздернуты, рот приоткрыт; ран никаких не заметно. Хватаю его под мышки, приподнимаю его над поверхностью. Он свешивает голову, изо рта и носа течет вода.

Нахлебался воды и утонул, вот и весь диагноз. Тут такого почти никогда не случается: наркотики и алкоголь внутри не продаются, а без них утонуть, когда воды по грудь, непросто.

Внезапно я понимаю, что знаю, как действовать – из учебных материалов, из интернатской практики. Утопленников еще минут через десять, а иногда и через полчаса можно вытащить с того света. Искусственное дыхание, непрямой массаж сердца. Черт, а я думал, что давно забыл эти слова за ненужностью!

Текила внушает мне уверенность в моих силах.

Я обнимаю его и волоку к краю чаши – там есть выступ-скамья. Он не хочет сидеть на воздухе, просится обратно под воду, так и норовит слезть с сиденья. Клаудио остолбенело уставился на меня.

Так... Легкие у него сейчас наполнены водой, верно? Моя задача – освободить их. Заместить ее воздухом. Потом попытаться запустить сердце и снова сделать искусственное дыхание. И снова сердце. И не останавливаться, пока не получится. Должно получиться, хоть я никогда этого и не делал.

Я склоняюсь над утопленником. Губы у него синие, глаза плачут морской водой, соленой, как настоящие слезы. Он смотрит мимо меня, в небо.

Черт! Трудно будет приложиться к его рту. Надо бы его очеловечить. Дать ему имя, что ли. Пусть будет Фред; с Фредом делать это веселее, чем с неопознанным трупом мужчины.

Набираю полную грудь, накрываю ртом его губы. Они холодные, но не такие холодные, как я думал.

– Ты что делаешь?! – В голосе серого Клаудио – ужас и омерзение. – Рехнулся?!

Я начинаю дуть – и тут его челюсть отпадает, и прямо мне в рот вываливается его язык – вялая мясистая тряпка, – касаясь моего языка. Похоже на поцелуй.

Я отдергиваюсь от утопленника, забыв его имя, не понимая еще, что случилось, – а когда понимаю, меня чуть не выворачивает.

– Я охрану вызову!

Еле отдышавшись, смотрю на него, потом на Клаудио, который теперь приобрел зеленоватый оттенок – наверное, отражая своей ухоженной кожей свечение чаши.

– Фред, – говорю я трупу. – Я вообще-то для тебя стараюсь, так что давай, брат, без этой херни.

Размахиваюсь и, как молотом, бью его по грудной клетке – там, где, по моей информации, должно находиться его сердце.

– Тебя в психушку надо! – орет на меня дискобол.

Фред опять поехал на дно. Если он продолжит в том же духе, я его не откачаю. Я оборачиваюсь к Клаудио.

– Иди сюда!

– Я?

– Живо! Приподними его, так чтобы лицо было над водой!

– Что?!

– Я говорю, приподними его! Вот тут, подхвати его вот тут!

– Я не буду к нему прикасаться! Он мертвый!

– Послушай меня, дебил! Его еще можно спасти! Я пытаюсь его реанимировать!

– Я не буду!

– Будешь, гад! Это приказ!

– Помогите!

Он рыбкой бросается в трубу, и я остаюсь с Фредом один на один. Пересиливаю себя, прижимаю свой рот к его рту, съеживаю язык – вдыхаю!

Отнимаю губы, размахиваюсь – луплю его по сочленению ребер. И снова вдываю в него воздух.

Удар! Выдох! Удар! Выдох! Удар!

Как узнать, что я все делаю правильно? Как узнать, что у меня еще есть шанс? Как узнать, сколько времени он провел с легкими, полными воды? Выдох!

Как узнать, спряталось ли его сознание в каком-то дальнем закутке отрезанного от кислорода мозга и беззвучно кричит мне «Я тут!», или он уже давно сдох, и я воюю с куском мяса?

Удар!

Выдох!

Подтягиваю его, подкладываю ему руку под голову, чтобы вода не заливалась обратно.

– Хватит ерзать! Хватит, сука, ерзать! Удар! Выдох!

Он должен ожить!

– Дыши давай!

Фред не хочет оживать. Но чем дольше он не просыпается, тем больше я завожусь, тем отчаянней молочу его по сердцу, тем яростней вдыхаю в него свой воздух. Не хочу признаться себе, что не могу его спасти.

Удар!

Как быть уверенным, что я все делаю правильно? Выдох!

Он не движется. Не моргает, не откашливается, не блюет водой, не глядит на меня ошарашенно, не выслушивает недоверчиво мои объяснения, не благодарит за спасение. Наверное, я сломал ему все ребра, порвал легкие, но он все равно ничего не чувствует.

– Давай так... Давай договоримся... Последний удар! Последний вдох!

Чудо!

Ну! Чудо?!

Он чуть колыхнется...

Нет. Опять просится в воду.

Я опускаю руки.

Фред смотрит вверх. Мне бы хотелось сказать ему, что его душа сейчас где-то там, на небе, где блуждает его взгляд. Так говорили о покойниках пятьсот лет назад. Но я не хочу ему врать: душой Фред, как и все мы, не пользовался, да и небо над его болтающейся головой – все равно нарисованное.

– Слабак! – говорю я ему вместо этого. – Гребаный слабак! Удар! Удар!

Удар!!!

– Отойдите от него, – произносит у меня за спиной строгий голос. – Он умер.

Оборачиваюсь: двое в белых гидрокостюмах с логотипом «Источника». Секьюрити.

– Я пытаюсь реанимировать его!

Фред сползает с сиденья, плюхается лицом в воду.

– Успокойтесь, – говорит охранник. – Вам нужна психологическая помощь. Как вас зовут?

Они извлекают откуда-то сетчатый продолговатый мешок – белый с пестрыми полосками по бокам, разворачивают его под водой и очень ловко загоняют в него Фреда. Застегивают парня с головой в мешке. Получается что-то вроде разноцветной надувной колбасы для купания.

– Как вас зовут? – повторяет охранник. – Возможно, будут искать свидетелей.

– Ортнер, – улыбаюсь я. – Николас Ортнер Двадцать Один Ка.

– Мы надеемся, что вы не станете распространять информацию о том, что видели, господин Ортнер, – говорит секьюрити. – «Источник» очень щепетильно относится к своей репутации, и наши юристы...

– Не волнуйтесь, – отвечаю я. – Вы обо мне больше не услышите.

Один из охранников ныряет в трубу, другой приподнимает Фреда-колбасу и отправляет его в последнее плавание, а потом замыкает траурную процессию. Я слежу за ним. В бассейне уровнем ниже разноцветный мешок еще вызывает страх, двумя уровнями ниже – брезгливость, тремя – любопытство, четырьмя – он уже никому не интересен.

Я отцепляю взгляд от Фреда, откидываюсь на бортик чаши. Мне надо убираться отсюда, но я выжидаю. Пусть охранники дотолкают его уже до выхода, не хочу больше встречаться ни с ними, ни с утопленником. Закрываю глаза, пытаюсь перевести дыхание.

Чувствую себя выжатым, глупым, беспомощным. Зачем ты это сделал?! Зачем пытался откачать его? Почему не сбегал или не сплавил труп дальше? Перед кем решил покрасоваться? Что хотел себе доказать?!

Еле дождавшись, пока развеселый мешок и его конвоиры скроются из виду, я бросаюсь вниз. Случайно бьюсь ногой о бортик и рад боли. Мне хочется ударить себя. Хочется разбить себе свою тупую башку.

По дороге домой я не могу избавиться от мыслей о Фреде: как его угораздило помереть? При средней продолжительности жизни лет в семьдесят умирать не так обидно. Но если эта продолжительность стремится к бесконечности, да и приземляют-то статистику только такие вот неудачники, как этот...

Ведь он вполне мог бы просуществовать еще тысячу лет, оставаясь все таким же молодым, может, согнал бы даже пару килограммов... Если бы я сумел его вытащить.

А если бы я отправил его с миром дальше, мой визит в купальни мог бы остаться в тайне. Теперь меня будут искать как свидетеля. И все зря. Я проталкиваюсь сквозь жужжащее человеческое месиво. Ненавижу толпу.

Каждый раз, когда я оказываюсь в местах избыточного скопления человеческих тел, облепляющих меня, жмущихся ко мне, не дающих мне двигаться и дышать, виснувших на моих локтях, топчущихся на моей обуви, – меня начинает трясти. Мне хочется заорать, смести их всех разом, бежать вон, ступая по чужим ногам, по головам. А бежать некуда. Сколько бы башен мы ни строили, всем места не хватит.

У меня есть свой способ прохода через общественные места, я называю его «ледокол». Двигаться надо немного боком, выставляя вперед правый локоть и уперев правый кулак в левую ладонь: так превращаешь свое тело в жесткую рамную конструкцию. Переносишь вес вперед, как бы заваливаясь, и локтем вклиниваешься в толпу. Вдавливаешь его между толкущихся людей и вдавливаешь самого себя следом. И пока остальные тычутся друг в друга, трутся, злятся, притрагиваются друг к другу тайком, списывая все на толчею, я вспарываю эту броуновскую свалку и прую насквозь.

Не изобрети я этот метод – давно рехнулся бы. Застрел бы, наверное, в толпе и потерялся в ней навсегда.

Еле добираюсь до шлюза. Сжимаю коммуникатор. Сигнал идет, шлюз впускает меня внутрь, отсекает всех лишних. Наконец я вырываюсь из толчеи.

Наконец мой блок.

От пола до потолка – двадцатиметровой высоты оранжевые стены поделены на ровные квадратики, в каждом – дверка; к стене прикручена решетка из лестниц и трапов: вход в каждый жилой куб – отдельный, снаружи. Говорят, архитекторы вдохновлялись старинными отелями – романтика, все дела. Еще говорят, что такая открытая конструкция и ее жизнерадостная яркая раскраска должны помогать страдающим клаустрофобией. Пошли бы они, умники.

В душ бы после этой гребаной давки.

На входе в блок – трейдомат, продающий всякую всячину: протеиновые батончики, спиртное в композитных бутылках, все нужные таблетки. Рядом – девчонка-продащица: стрижка под пони, глупые голубые глаза, белая рубашка расстегнута до третьей пуговицы.

– Привет! – говорит мне она. – Будете что-нибудь? У нас свежие кузнечики!

– «Картель» есть?

– Конечно! Мы специально для вас всегда держим про запас бутылочку.

– Очень мило. Давай. И кузнечиков своих.

– Сладких или соленых? Есть еще со вкусом картошки или салями!

– Соленых. Кажется, все.

– Ну конечно, соленых! – Она смешно хлопает себя ладошкой по лбу. – Как всегда.

Коммуникатор на руке просит приложить к экрану указательный палец – авторизовать оплату. Автомат вручает мне пакет с покупками.

– Чуть не забыла! Не хотите попробовать новые таблетки счастья?

– Таблетки?

– Очень хорошие, правда! Эффект потрясающий! Действует до трех дней. А потом – никаких отходняков.

– Откуда ты знаешь?

– Что?

– Откуда тебе-то знать, что эффект потрясающий? Есть с чем сравнить?

– Что вы имеете в виду?

– Ты что, когда-нибудь была счастлива? – разжевываю я. – Хотя бы секунду, а?

– Вы же знаете, что я не могу...

– Конечно, не можешь! Так за каким дьяволом ты...

– Зачем вы так? – В ее голосе обида настолько неподдельная, что мне даже становится неловко; абсурд.

– Ладно... Ладно, прости. – Зачем я ей это говорю? – Сорвался. Был трудный день... Длинный и очень... Странный.

– Странный?

– Кажется, я наделал массу вещей, которые делать не собирался. Знаешь, как бывает?

Она жмет плечиками, хлопает ресницами.

– Твердо решишь никогда не делать что-то, а приходишь в себя, когда уже по локти в нем, в этом самом, и заднего хода уже не дашь, – объясняю я. – И не поймешь, как так случилось. И спросить не у кого. И поговорить об этом не с кем.

– Вам одиноко?

Она глядит мельком, искоса; и так искусно это сделано, что я обо всем забываю и покупаюсь.

– Ну... А тебе?

– Я просто подумала, что если вам одиноко, то эти наши новые таблетки счастья – может быть, это именно то, что вам сейчас нужно... Не хотите попробовать?

– Не хочу я твоих гребаных таблеток! Счастье невозможно сожрать, понимаешь?! И хватит мне его впаривать!

– Эй, дядь... Ты не переживай так! – Глумливый смешок за моей спиной. – Ты же в курсе, что она ненастоящая? Может, залезешь на нее еще? Только давай по-быстрому, тут очередь!

– Да пошел ты! – Я оборачиваюсь.

Какое-то бесполое чучело в красном пушистом балахоне. Оно делает шаг вперед, нагло занимая мое место у диспенсера.

– Спасибо за покупку, – говорит мне на прощание продавщица.

– Давай сюда Изабеллу, – требует чучело у трейдомата. – Не хочу, чтобы меня обслуживала эта фригидная кукла.

Голубоглазая настырная девчонка покорно исчезает, а на ее месте возникает другая проекция: кудрявая широкобедрая южанка с тяжелой грудью и вульгарным макияжем.

– Что уставился? Вали давай, ушлепок! – кивает мне чучело. – Привет, Иза! Ты как?

На прощание я разбиваю ему бровь. Странный день.

И только когда я возвращаюсь домой, втискиваясь в свой куб, вижу: от пачки снотворного остался всего один шарик. Главное – не забыть купить новую завтра, иначе...

Озираюсь: как всегда, идеальный порядок. Кровать заправлена, одежда на полке выглажена и рассортирована, форма – отдельно, два чистых комплекта заготовлены, обувь вся в чехлах, на откидном столике-пульте – коробка с сувенирами, на стене висит старая пластиковая маска Микки Мауса, дешевая, из тех, что раньше продавали детям в парках развлечений.

Больше ничего лишнего: не люблю лишнее. Кто-то, может, считает, что в кубе размером два на два на два по-другому и нельзя, но я возражу. Если человек не склонен к порядку, он и в гробу устроит бардак.

Все нормально. Все нормально. Все нормально.

Прежде чем меня успевают зажать в тисках, я приказываю дому:

– Окно! Тоскана!

Одна из стен – та, что напротив койки, – вспыхивает и становится окном от пола до потолка; за ним – мои любимые холмы, и небо, и облака. Все фальшивка, но я вырос на суррогате.

Я прикладываюсь к бутылке, потом выдавливаю из упаковки последнюю сонную таблетку, кладу в рот, умещаюсь на койке и рассасываю шарик, глубоко дыша и не сводя глаз с картины за окном.

Главное – продержаться пять минут. Шарик нужно ровно столько, чтобы отправить меня в никуда. Пусть сами жрут свои таблетки счастья и безмятежности, а мне оставят только мои маленькие кругляши. Они отключают точно на восемь часов, а главное – гарантированно никаких снов. Гениальное изобретение. С ними я буду и безмятежен, и счастлив.

Снотворное приятно кислит на языке. Всегда выбираю с лимонным вкусом – хорошо к текиле; не все же могут позволить себе настоящий лимон. А уж настоящую солнечную Тоскану – и вовсе никто. Да и хер с ней.

Я выключаю свет, застегиваю себя в темноту. Я – веселый бело-радужный мешок, и меня затягивает в прозрачную трубу, с одного конца которой – чаша с морской водой, а с другой – небытие.

Глава III. Рейд

Ладно, готов признать, что бывают нормальные лифты.

Допотопные, прозрачные, которые ползают по внешним стенам старых башен – вот в этих я готов немного поторчать взаперти, хоть и кажется, что им требуется целая вечность, чтобы спуститься с верхних ярусов вниз.

Этот – большой, человек тридцать в нем уместится свободно, и сейчас он заполнен лишь на треть. Снаружи он выглядит как стеклянная полусфера, одна из десятков, лепящихся к фасаду громадного небоскреба, словно высеченного из льда.

Кроме меня, в кабине еще девять человек. Первым взгляд клеится к двухметровому громиле, хмурому, прикусившему губу. Глаза у него красные и слезятся, да и нос еще течет: кажется, что он плачет. Рядом с ним – делового вида толстячок, сосредоточенно чешущий свой затылок. Кажется, бизнесмен направляется в свою контору. Губастый улыбчивый тип с короткой стрижкой, рослый и какой-то нелепый, о чем-то шушукается с веснушчатым лохматым парнем в цветастой рубашке. Громила смотрит на них неодобрительно.

Худой мужичонка с усталым нервным лицом дремлет стоя, хотя хихикают прямо у него над ухом. Над ним нависает длинный человек с хрящеватым носом, печальными темными глазами и внушительными ушами, упрятанными под копну тщательно вымытых волос. Несмотря на странную внешность, от него исходит ощущение совершенной безмятежности: может, в сени его ушей мужичонка и прикорнул.

Но мое внимание приковано к другому пассажиру – обритому наголо щуплому юнцу. Почти подросток, до того молодо выглядит, и по виду явная шпана. В приличном боксе на него бы подозрительно пялились; а тут за ними наблюдает только один пассажир – коренастый, обритый наголо и уса́тый. Если бы мне пришлось угадывать, кто он, я бы сказал – полицейский.

Последний – настоящий романтический герой: пропорционален, как Витрувианский человек, благороден лицом, как Давид; курчав, да еще и мечтателен. Вот кто, думаю, произвел бы фурор в купальнях.

Я прижимаюсь лбом к стеклу.

Погружаюсь в этой стеклянной банке все ниже; теперь мы где-то посередине. Теперь вверх башни уходят в бесконечную перспективу, смыкаясь вершинами, настолько же, насколько и вниз, срастаясь корнями. Горят мириады огней. И не видно городу этому ни конца, ни края.

Европа. Грандиозный гигаполис, подмявший под себя половину континента, попирающий землю и подпирающий небеса.

Когда-то люди попытались соорудить башню, которая достала бы до облаков; за гордыню бог наказал их раздором, заставив говорить на разных наречиях. Великое здание, которое они возводили, разрушилось. Бог самодовольно ухмыльнулся и закурил.

Люди отступились от неба – но ненадолго. Бог и глазом моргнуть не успел, как его сначала уплотнили, а потом выселили. Теперь вся Европа застроена вавилонскими башнями; и нынче дело не в гордыне. Просто жить негде.

А вкус к соревнованиям с богом давно утрачен.

Время, когда он был единственным, прошло, теперь он – просто один из ста двадцати миллиардов, и это если он прописан в Европе. Есть же еще Панамери-ка, Индокитай, Япония со своими колониями, латиносы, да Африка, наконец, – всего под триллион народу. Нам тесно, нам негде размещать заводы и агрофабрики, офисы и арены, купальни и имитаторы природных зон. Нас стало слишком много, и мы попросили его подвинуться, только и всего. Нам небо нужней.

Европа похожа на фантастический ливневый лес: башни словно стволы деревьев, многие больше километра в обхвате и по несколько километров в высоту, транспортные рукава и переходы перекинуты между ними, как лианы. Башни вздымаются над долиной Рейна и над долинами Луары, они выросли в Португалии и в Чехии. То, что прежде было Барселоной, Марселем, Гамбургом, Краковом, Миланом, – сейчас единая страна, единый город, мир в себе. Сбылась вековая мечта, и Европа по-настоящему едина – всю ее можно проскочить через транспортные рукава и туннели, подвешенные на стоэтажной высоте.

Местами этот великий лес озарен огнями, местами может показаться суровым и сумеречным: не все здания имеют окна, трубы коммуникаций зачастую вынесены наружу и оплетают стволы башен, как выюнки-паразиты. Но везде сокровенное – внутри. Вырастая на месте старой Европы, новая поглощала ее: средневековые храмы, древние римские дворцы, мощенованные парижские улочки, стеклянный купол берлинского Бундестага – все оказалось забрано внутрь возводимых гигантов, стало частью интерьеров нижних ярусов; кое-что пришлось снести – чтобы вбить опоры и поставить стены, но нового мира без перепланировки не построить.

А теперь над крышами домов старого города Праги, над башенками Рыбацкого замка в Будапеште и над мадридским королевским дворцом есть еще сотни крыш – одна над другой; сады и трющобы, купальни и громадные предприятия, спальные боксы и штаб-квартиры корпораций, и стадионы, и бойни, и виллы. Эйфелева башня, Тауэр, Кельнский собор – пылятся под искусственными облаками в подвалах новых башен, новых дворцов и новых соборов, по-настоящему великих и по-настоящему вечных.

Потому что только таких домов заслуживает новый человек. Человек, сумевший взломать собственное тело, исправить смертный приговор, прописанный ему в ДНК бородатым натуралистом. Смогший перепрограммировать себя. Превратиться из чужой скоропортящейся игрушки – в существо, не подверженное тлену, всегда юное; наконец независимое; совершенное.

Человек, переставший быть созданием и ставший создателем.

Миллионы лет люди страстно мечтали об одном – победить смерть, избавиться от ее гнета, перестать жить в вечном страхе, стать свободными! Только разогнувшись, только взяв в руки палку, мы уже думали, как бы обмануть смерть. Всю нашу историю, и еще до того – еще когда история была топким бессознательным безвременьем, мы стремились только к этому. Люди жрали сердца и печень своих врагов, искали мифические источники у черта на куличках, глотали толченые носорожьи рога и толченые драгоценные камни, совокуплялись с юными девственницами, платили состояния шарлатанам-алхимикам, жрали только углеводы или только протеины в соответствии с рекомендациями геронтологов, занимались бегом, платили состояния шарлатанам-хирургам, чтобы те подтянули нам кожу и разгладили морщины... Все, лишь бы оставаться вечно молодыми – или хотя бы казаться такими.

Мы больше не *homo sapiens*. Мы – *homo ultimus*.

Не желающие быть чьей-то поделкой. Не собирающиеся дожидаться рассмотрения своего дела в застопорившейся бюрократической машине эволюции. Наконец взявшие собственную судьбу в свои руки.

Мы – венец собственного творения.

И вот наш чертог – новая Европа.

Земля счастья и справедливости, где каждый рождается бессмертным, где право на бессмертие столь же священно и неотъемлемо, как право на жизнь.

Земля людей, которые впервые за человеческую историю свободны от страха, которые не обязаны жить каждый день, как последний. Людей, которые могут, не стесненные гнилостными процессами своего тела-мешка, мыслить не категориями дней и лет, а масштабами, достойными Вселенной. Которые могут бесконечно совершенствоваться в науках и умениях, совершенствовать мир – и самих себя.

Нет больше смысла соревноваться с богом, потому что мы давно сравнились с ним. Раньше вечен был только он, теперь – любой. Мы и на небеса-то забрались, потому что каждый из нас теперь бог, потому что теперь-то они наши по праву.

Его даже не свергали – он сам бежал, сбрав бороду и переодевшись в женское платье, и сейчас бродит где-то среди нас, живет в кубе два на два на два и хрюкает антидепрессанты на завтрак.

Лифт сполз ярусов на двадцать вниз; сквозь туман и дым видно основания башен. Уже недолго осталось.

– Я тебе вот что скажу. Ты живешь в самое лучшее из всех времен, которые только были на этой планете. Не было более счастливого времени, понятно? – произносит усатый, и я возвращаюсь в кабину.

Говорит он вроде как со шпаной, с этим бритым подростком, но остальные пассажиры лифта тоже оборачиваются к нему, внимают; лица у всех серьезные.

– Но только счастье это не у всех, вот что. Это тут, в Европе, у нас так. А в России – сам в новостях видел небось, что творится. Или с Индией как получилось. Недаром у нас все границы вечно беженцами обсижены, как вошью. Все к нам потому лезут, что у нас здесь халява, ясно? Другого такого места нету. Не в Америку же в самом деле им ехать, так? Бабла на жизнь не хватит.

Пацан хмурится – но кивает, соглашаясь.

Я приглядываюсь к нему. Он не нравится мне. Тупое злобное лицо. Что он тут делает? Ему тут не место.

– Вот ты тут родился. Тебе бессмертие по праву положено. Повезло. А что, думаешь, так все и будет? Собираешься бесконечно жить, а? Ничего тебе не гарантировано, вот что я скажу. Ноль. Потому что на халяву падких много. А все хорошее заканчивается. Воды в обрез, так? Мочу свою фильтруем и пьем! Места в обрез! Хорошо, когда у человека восемь кубометров есть! Жратвы... Ты слушаешь меня?

– Да слушаю, слушаю... – бурчит обритая шпана.

– Жратвы! Энергии! Все на пределе! На пределе! Тут каждый должен сознательность проявлять! Сто двадцать миллиардов шестьсот два миллиона четыреста восемьдесят одна тысяча. Столько Европа тянет. Больше – не сможет. Мы в опасности. Демагоги брешут: тысяча туда, тысяча сюда... А я тебе скажу: стакан полон, вот что. Еще капля – и через край хлынет. И капнут всему.

Киваю: так все и есть.

– И не будет тебе твоего бессмертия. Ясно? А все из-за этих. Если есть у Европы враги – это они. Мрази. Хочешь как зверь жить – делай выбор, все по закону, так? Нет же. Они выкрутятся хотят. Тебя обмануть. Чтобы их отродье выдышало наш воздух, нашу воду всю высосало! И что, спустить им все с рук?!

– Хер им, – смурно бухтит подросток.

– Ты просто помни об этом, ясно? Они преступники. Паразиты. Они должны заплатить! Мы все правильно делаем. Мир, друг, просто устроен: черное или белое. Мы или они. Ясно?!

– Да ясно, ясно...

– Вот так! Ноль этим гнидам пощады!

Усатый строго оглядывает пацаненку, потом скидывает с плеча ранец, достает из него белую маску. Оглядывает ее, словно видит впервые и не понимает, откуда она взялась у него в рюкзаке. Потом натягивает ее на себя.

На вид композитный материал, из которого она сделана, неотличим от мрамора.

Лицо на маске раньше принадлежало древнему изваянию Аполлона. Я знаю – видел саму статую в музее. Глаза у нее пустые, без зрачков – закатились или бельмами затянуло. Лицо

холодное, бесстрастное, парализованное. Бесполое. Слишком правильные черты. Лепили его или с самого бога, или с красивого мертвеца. У людей – живых – таких лиц не бывает.

Пацаненок лезет в свой мешок, вытаскивает из него точно такую же маску, надевает ее и замирает: скрученная пружина.

Потом и пухлый бизнесмен выуживает откуда-то свою маску – копию тех, что нашлись у парнишки и у усатого. Суетливо выхватывает откуда-то Аполлоново лицо худой мужичок, неспешно пристегивает к себе мраморную личину ушастый. За ним следуют громила и Витрувианский человек; лохматый парень скидывает свою разноцветную гавайку и облачается в черный комбинезон – как у остальных, превращается в бога света, юности и красоты, а за ним и губастый балагур. Теперь обезличены и обмундированы все девяттеро.

– Уснул? – поворачивается ко мне тот, что был усатым.

Я достаю свою маску – последним.

Приехали.

Стена, из которой мы выходим, превращена в панно – на всю ее огромную площадь нанесено граффити. Наивное, яркое, слащавое: улыбающиеся смуглые богатыри с квадратными подбородками и мыльными пузырями на головах, арийские самки в серебряных комбинезонах, смеющиеся дети с умными взрослыми глазами, легкие прозрачные небоскребы, а над ними – перетекающее в синий космос безоблачное небо, в которое стартуют десятки белых кораблей-«Альбатросов», изготавливаясь, видимо, прыгнуть через межзвездное пространство к другим мирам, покорить их и навести туда мосты с битком набитой счастливыми человечками Земли.

Между небом и космосом – многометровыми буквами название этой румяной утопии: «БУДУЩЕЕ».

Черт знает, когда это все намалевали. Давно, наверное, – раз еще рисовали, а не пустили на стену проекцию или не поставили экран. Раз тратили еще краску на изображение детей. Наверное, очень давно, раз еще верили в освоение космоса. Зато точно ясно, что с тех самых пор, как эту идиллию тут начертали, не чистили ее ни разу – так что теперь граффити покрыто коричневатым слоем копоти и жира, словно картины средневековых мастеров. Небо посмурнело. Люди, заламинированные в жир, выглядят нездорово: скалятся желтыми зубами, таращат желтые белки глаз, и радость их кажется натужной, словно в концлагерь приехал фотограф из газеты и всем велел улыбаться.

Занятно. Модели, которые позировали художнику столетия назад, наверное, ничуть не изменились с тех пор. А их изображения потускнели, закоптились, растрескались. Портретам время не идет на пользу, это еще вечный юноша Уайльд подметил. А нам на время плевать. Мы временем не болеем.

Выход из лифтовой кабины устроен там, где на стене нарисован последний не взмывший еще в космическую синеву корабль, и обыгран он в меру фантазии автора: двери лифта – люк межгалактического челнока.

Так получается, что вылезает мы в устаревшем БУДУЩЕМ из корабля, который так и не полетел к дальним звездам. И правильно, кстати, сделал. Не хера там ловить.

А перед нами – настоящее.

Бокс, в который мы попали, метров пятьдесят в высоту и чуть ли не по полкилометра в длину и ширину; точнее не сказать, потому что насквозь его проглядеть трудно. От пола до потолка громоздятся скрученные из композитных каркасов конструкции, похожие на склад какого-то мегамаркета, на его бесконечные стеллажи и антресоли. И этот скелет, состоящий из столбов и полок, превратился в целый коралловый риф, населенный самой причудливой живностью.

Каждая полка – полтора метра, не разогнуться, одни огорожены хлипкими заборчиками, другие обустроены тонкими разноцветными стенками из всяческого хлама, третьи – голые.

И по этим полкам, которых тут миллион, разложен миллион человеческих жизней. Каждая клетушка – чья-то халупа, лавка, ночлежка или харчевня. В воздухе висит пряный туман: пар человеческого дыхания пополам с дымом готовящейся еды, пот пополам со специями, запах мочи пополам с экзотическими ароматизаторами.

Каркасы стоят плотно, от одного можно с разбегу перепрыгнуть к другому. Прыгать не страшно даже на высоте каких-нибудь тридцатых карликовых ярусов: между каркасами повсюду проброшены висячие мостики, налажены канатные дорожки, протянуты какие-то веревки с сушащимся бельем – даже если оступиться, в полете непременно за что-нибудь зацепишься.

Облепленные мириадами жилых ракушек, каркасы кишат людьми. Пестрая толпа до отказа набилась на первый уровень, «наземный» – хотя от настоящей земли до него метров триста, и заполонила все остальные. Кипят, не выкипая, человеческими лицами галереи, кто-то носится по держащимся на честном слове мостикам – кажется, что люди барахтаются прямо в воздухе. По забранным в решетчатые шахты лестницам от пола к далекому потолку безостановочно прокачивается вязкая людская масса. Еще десять тысяч маленьких приставных лесенок сбегает с этажа на этаж в тех местах, где кому-то заблагорассудится их сейчас прислонить. И снуют вверх-вниз шаткие платформочки сомнительных подъемников, доставляющие рискованных пассажиров и их странные грузы именно в ту точку этой адовой кутерьмы, которая им непременно зачем-то сдалась.

И притом вся конструкция какая-то... не прозрачная, а дырявая – так что виднеется сквозь нее, сквозь решетки, стенки, переходы, балкончики, развешенное для сушки белье – нарисованный во весь потолок космос со звездами и аляповатыми сатурнами-плутонами-юпитерами, потому что потолок – продолжение того громадного граффити, из которого мы вышли, и гордые астронавты с пузырями на головах своими мудрыми и добрыми глазами (разве что желтоватыми) с настенного панно созерцают творящуюся перед ними вакханалию – явно в ступоре и явно подумывая, не лучше ли им все же будет свалить в космос.

Привет, люди БУДУЩЕГО. Добро пожаловать в фавелы.

Стоит невыносимый гвалт. Миллион человек говорят разом – каждый на своем языке: напевают вслух приклеившуюся к языку попсу, стонут, кричат, хохочут, шепчут, клянутся, плачут.

Я чувствую себя так, будто меня запихнули в микроволновку.

Кажется, что через это столпотворение мне не пробиться даже в одиночку, даже моим фирменным способом. А уж вдесятером, не растерявшись по дороге...

– Клин, – говорит мне из-под Аполлоновой маски наш звеньевой, Эл – тот уса́тый, что наставлял пацана.

Я даже не слышу его голоса; читаю по губам.

– Клин! – ору я.

Гигант с текущим носом – Даниэль – становится первым. За ним – Эл и пухлый, похожий на бизнесмена Антон, в третьем ряду Бенедикт – излучатель спокойствия, и шпаненок, имени которого я даже не собираюсь запоминать, и щуплый нервный Алекс. В замыкающей линии – губастый Бернар, лохматый Виктор, Йозеф-витрувианец и я.

– Маршем, – наверное, произносит звеньевой.

– Маршем! – повторяю я, надрывая глотку.

Мне хочется распахивать толпу локтями, гнать этих бездельников прочь, давить их, но сдавливаю я самого себя – в стальном зажиме, смотрю на Эла, на Даниэля, заражаю себя их хладнокровием. Я – часть звена. Вокруг меня – мои боевые товарищи. Мы с ними – один механизм, один организм. Если бы только тут был Базиль... Если бы только вместо этого малолетнего упыря тут был Базиль. Но Базиль сам во всем виноват. Сам. Сам!

Я больше никуда не рвусь. Я марширую.

Наше построение танком ползет вперед.

Сначала нам трудно: в этом ведьмином вареве нас замечают не сразу. Но сначала одни чужие глаза спотыкаются о черные вырезы на наших масках, потом еще кто-то прикипает взглядом к мраморным гладким лбам и мраморным застывшим кудрям, к склеенным губам и к идеально прямым носам, вырубленным из камня.

Разлетается по толпе шепот: «Бессмертные... Бессмертные...» И она останавливается.

Когда вода остыла до нуля градусов, она может еще и не замерзнуть. Но если в нее положить кусочек льда, процесс запускается тут же, и вокруг, сковывая поверхность, начинает распространяться ледяной панцирь.

Так и вокруг нас расплзается холод, примораживая бомжей, торгашей, работяг, пиратов, дилеров чего угодно, воров; всех этих неудачников. Они сперва перестают мельтешить, застывают, а потом поджимаются, пятятся от нас во все стороны, спрессовываются как-то, хотя казалось, что плотней уже стоять нельзя.

А мы движемся все быстрее, рассекая толпу надвое – за нами остается след, порез, который еще долго не срастается, словно люди боятся ступать там, где только что ступали мы. «Бессмертные...» – шуршит у нас за спиной.

В их шепоте – подобострастие и страх, но и ненависть, и презрение. И черт с ними.

Замирают разговоры в крохотных грязных харчевнях на первых этажах, где везучие посетители сидят друг у друга на головах, а остальные гроздьями свисают с балконов, чудом удерживаясь на весу и прихлебывая безымянную органику из обшарпанных лотков. Обрастают выпученными креветочными глазками раковины хибар и хибарок: все их обитатели вылезают, высыпают на галерейки и мосточки, чтобы увидеть нас воочию. Провожают нас испуганными взглядами, не могут оторваться: каждый должен знать, куда мы идем.

Каждый хочет знать, за кем мы.

– Налево, – командует Эл, глядя на свой комм.

– Налево!

Поворачиваем к лесенке, которая втиснулась между кабинетом вертикального массажа и салоном виртуального секса. На нашем пути встает какой-то верзила со сплюснутым носом, но Даниэль отшвыривает его в сторону, тот падает на пол и больше не поднимается.

– Нам на пятнадцатый, – говорит Эл.

Шепот взлетает на пятнадцатый этаж куда быстрее, чем мы вскарабкиваемся по скрипучей лестнице, которая качается так, будто мы – обезьяны на лианах.

А там, наверху, уже занимается пожар паники. Ничего, пускай.

Забравшись, бежим цепью по узеньким подвесным балконам мимо мириад кабин, хижин, клетушек. Люди прыскают в стороны. Отпихиваем прочь зазевавшихся и остолбеневших от ужаса.

– Быстрее! – кричит Эл. – Быстрее!

Навстречу нам выскакивает растрепанная девушка. Бросается на нас, как-то глупо выставив руки вперед. Ладони у нее перемазаны в чем-то желтом.

– Уходите! Уходите! Не надо! Не пущу!

– Отвали, дура! Что ты делаешь?! – орет на нее какой-то парень, дергает ее за платье, пытаясь от нас оттащить. – Что ты делаешь?! Ты только...

– Дорогу! – ревет Даниэль.

– Она нам нужна, – решает звеньевой. – Придержите ее!

Антон выхватывает шокер и тычет его девушке в живот; та падает как подкошенная и больше ничего не может сказать. Парень пялится на нее недоверчиво, потом вдруг толкает Антона обеими руками в плечи – так, что тот проламывает дистрофичную балконную оградку и летит в пропасть.

– Тут... Это где-то тут! – гаркает звеньевой.

Выбросив Антона, парень впадает в прострацию – тут же получает шокером в ухо и валится мешком. Я выглядываю с балкона: Антон приземлился парой этажей ниже на какой-то перекладине. Показывает мне большой палец.

Мы останавливаемся у микроскопической лапшичной: продавец помещается в своем заведении только сидя, где-то за ним ютится повар, вдоль прилавка, сделанного для карликов, – ряд табуреток с подпиленными ножками, в конце занавеска – сортир. Вся столовка – размером с киоск. Соседи все на виду. Прятаться негде. На стене у кассы висит голограмма: мужик в розовой резине, обтягивающей его рельефную мускулатуру. Глаза подведены, во рту – лиловая сигара. Сигара дымится и в зависимости от точки меняет угол наклона, недвусмысленно вздымаясь.

Меня сейчас стошнит.

У приземистого повара на коричневой лысине белым вытатуировано «Возьми меня». Продавец тоже нарядный: весь в помаде, язык проколот люминесцирующей штангой. Смотрит на Даниэля, медленно обводит подмигивающей сережкой накрашенные губы. Кажется, мы не по адресу.

– Можешь даже не снимать маску, – говорит он. – Люблю анонимность. И сапоги оставь... Они такие brutальные.

– Тут? – оборачивается к Элу Даниэль. – Странное место для сквота.

– Был сигнал, – хмурится звеньево, уставившись в свой коммуникатор. – И эта баба...

И тут я вижу за приподнятой занавеской чьи-то круглые глаза, ловлю сдавленный писк, шепот... Отодвигаю Даниэля, который заслоняет весь проход, сгибаюсь в три погибели – лезу мимо заинтригованных педиков с их стынувшей лапшой, добираюсь до сортира...

– Эй! – окликает меня продавец. – Эй-эй! Отдергиваю тряпку. Никого.

В кабинке можно уместиться только на корточках. Стенка за стульчаком вся расписана предложениями быстрого и анонимного секса, снабженными метрическими данными – наверняка приукрашенными. Слева какой-то умелец выцарапал анатомически достоверный член, окружив его, словно фамильный герб, лентами с начертанной на них совершенно невообразимой похабщиной. Там, где начинается слово «причмокивая», я вижу крохотный тактильный сенсор. Изобретательно.

Делаю шаг назад и впечатываю бутсу в стенку. Она, как бумажная, прорывается – за ней люк со стремянкой, ведущей вниз.

– Сюда! – прыгаю первым.

Уже падая, слышу визг и знаю: нашел. Сигнал был верный. Не успели сбежать, не успели. Меня заливают адреналином. Вот она, охота. Теперь-то не спрячешься, ублюдки.

Крошечная полутемная комнатка, на полу – какая-то пластиковая мебель, ворох тряпок, скорченная фигура... Чувствую, как подступает тошнота. Прежде чем я успеваю толком все разглядеть, комната вспыхивает, я лечу кубарем, в глазах – огненные кольца, дыхание перебито. Тут же откатываюсь и вслепую бросаюсь на него, пальцами нащупываю шею, потом глаза – вдавливаю внутрь. Вопль.

Успеваю нашарить свой шокер – перехватывая скользкую чужую кисть, которая тянется к нему же, – выдергиваю, тычу шокером в мягкое.

Ззз... Подольше держу. Подольше. Полежишь, гад.

Отваливаю обмякшее тело от себя, пинаю его устало.

Да куда же все наши запропастились?

Разметываю мешки-кресла, вымещаю на них то, что не стал вымещать на теле. Заставленный диваном в углу комнатухи – лаз.

– Вы где?!

Наверху – брань, возня. Похоже, нашим сейчас тоже жарко. Но мне обратного пути нет. Справятся сами. До меня доносится придушенный тонкий писк. Я чувствую, что еще вот-вот – и накрою гнездо.

В этом лазе может быть что угодно. Нарушители бывают вооружены всерьез. Но нельзя ждать. Тут каждая секунда на счету. Если они успеют эвакуировать сквот, весь рейд насмарку.

Приподнимаю с пола человека-куль, пропихиваю его в лаз впереди себя. Изнутри – вопль. Куль дергается – нехорошо так, конвульсивно. Затихает. Его втаскивают внутрь. Еще один вскрик – отчаянный.

– Максим!

Ага, поняли, что своего оприходовали.

Дышать все еще тяжело. Ребра колет. Проверяю шокер. Он тихо жужжит. Заряд на дозволённый максимум. Лаз тесный, как желудок питона. Надо проскочить через эту горловину! Проскочить, пока она не сжалась и не удавила меня...

Кувырок – вкатываюсь внутрь быстрее, чем они успевают понять, что я – просто человек.

Наугад раздаю тычки смазанным силуэтам, среди которых оказываюсь. Они падают, обретая четкие очертания. Тонкий захлебывающийся плач.

– Не надо!

– Стоять! Всем стоять, суки! – И наконец выплевываю наше, каленое: – Забудь о смерти!

И этими словами, словно настоящим огненным тавром, прижигаю, припечатываю, парализую их всех. Кто дрыгался – затихает. Кто ревел – скулит. Знают: теперь – все.

Включаю свет. Ну?!

Комната, раскрашенная в кричащие цвета – одна стена ярко-желтая, другая ярко-синяя; все изрисовано какими-то каракулями, словно их чертил имбецил с нарушенной координацией. Башни, люди держатся за руки, облака и солнце.

Из мебели – матрасы. Небогато. И места так мало, что нечем дышать. Как их столько сюда набилось?

На полу валяются две бабы и парень. Парень ткнулся носом в мою бутсу. Голову одной из женщин ореолом окружает зеленая зловонная лужа. Чувствую, как и у меня к горлу подступает едкий сок.

К стенам жмутся еще три девушки. У одной, голубоглазой и в коротком синем платье, на руках – мячущий сверток. Вторая – раскосая крашеная блондинка – все еще зажимает рукой рот полуторагодовалой девочке с жиденькими черными волосенками под розовой шапочкой. Девочка что-то обиженно мычит из-под ладони и пытается выкрутиться, но не может – у матери руки заклинило, словно судорогой свело. От всего лица видны только глаза – такие же щелочки, как у мамы. Последняя из задержанных, рыжая с тысячей маленьких косичек, прячет за собой белобрысого мальчишку лет трех. Мальчик наставил на меня придурковатого лысого пупса с оторванной ногой, держит его так, будто это оружие. Кукла, надо же... На блошином рынке они ее раскопали или у антикваров? Пупс пытается навести на меня жутковато-осмысленный взгляд и нудит:

– Давай играть в салки. Только мне нужна обратно моя нога! Иначе как я буду от тебя убегать? Верни мне мою ногу и давай играть! Будешь?

Остальные молчат. Тогда снова вступаю я:

– Проверка сигнала. Вы подозреваетесь в укрывательстве незаконнорожденных. Мы проведем тест ДНК. Если дети зарегистрированы, вам нечего бояться.

Говорю «мы», хотя я тут все еще один.

– Мама! Все в порядке, я его держу на мушке! – заявляет мальчишка, вылезая вперед.

Женщина начинает выть:

– Не надо... Не надо...

– Вам нечего бояться, – улыбаюсь я.

Я гляжу на них и знаю, что лгу. Они именно должны трястись от страха – потому что виновны. Тест только подтвердит то, что и так видно по их глазам.

Не боится из них всех только мальчик. Почему? Неужели его не пугали Бессмертными?

– Вы! – Я киваю на встрепанную синеглазую девушку в синем платье с младенцем на руках. – Сюда.

– Будем играть в салки? Только верни мне мою ногу... Иначе как я буду бегать? – кося на меня, канючит кукла.

Я загораживаю единственный выход; теперь отсюда некуда бежать – ни им, ни пупсу, ни мне; а ведь мне хочется выбраться из этого давящего ящика так же отчаянно!

Как загипнотизированная, девушка в синем платье послушно делает шаг вперед. В ее голубых глазах можно утопиться. Ребенок умолкает – может быть, засыпает.

– Руку.

Неловко удерживая сопящего младенца, она выпрастывает ладонь и протягивает мне ее – как-то стеснительно, будто надеясь на что-то. Я хватаю ее как в рукопожатии. Чуть заламываю запястье, обнажая пульс. Достаю сканер, прижимаю. Тихий мелодичный сигнал. Тон «Колокольчик». Сам выбирал его в каталоге звуков. Обычно разряжает обстановку.

– Регистрация беременности?

Девушка, словно спохватившись, пытается отдернуть руку. Будто я поймал какого-то зверька – теплого и юркого; он доверился мне по глупости, а я вцепился в него и сейчас скручу ему шею, он бьется, чувствуя, что пропал, но вырваться из моей хватки уже не может.

– Элизабет Дюри Восемьдесят Три А. Беременность не регистрировалась, – сверившись с базой, констатирует сканер.

– Ребенок ваш? – Я смотрю на девушку, не выпуская ее руки.

– Нет... Да, мой... Он... Это она... Это девочка... – та путается, запинаясь.

– Дайте ее сюда.

– Что?

– Мне нужно ее запястье.

– Я не дам!

Я подтягиваю ее к себе, разворачиваю сверток. Внутри – похожий на голую сморщенную обезьянку красный человечек. Действительно, девочка. Вся обляпанная желтым. Месяц, не больше. Недолго же ей удалось от нас прятаться.

– Нет! Нет!

Платье Элизабет Дюри намокает – груди расплзаются темными пятнами. Молоко пошло. Действительно, настоящее животное. Отпускаю ее. Берусь за обезьянью лапку и прижимаю к ней сканер.

Динь-дилинь! Колокольчик. Некоторые из наших присваивают завершению сканирования ДНК тон «Гильотина». Шутники.

– Проверить регистрацию ребенка.

– Я хочу играть в салки! – капризно требует безногая кукла.

– Ребенок не зарегистрирован, – сообщает сканер.

– Мама, давай уйдем отсюда? Пойдем гулять!

– Тише... Тише, сынок...

– Установить родство с предыдущим образцом.

– Прямая родственная связь родитель – ребенок.

– Он мне не нравится!

– Спасибо за сотрудничество, – киваю я девушке в синем платье. – Теперь вы, – оборачиваюсь к рыжей.

Она пятится от меня, мотая головой и подвывая. Тогда я хватаю за руку ее пацаненка.

– Отпусти меня! Отпусти быстро!

– Давай играть в салки? – встревает пупс.

И тут эта маленькая дрянь вдруг изворачивается и вцепляется мне зубами в палец!

– Отстань от нас! – кричит мне мальчишка. – Уходи!

До крови, надо же. Отнимаю у него куклу, с размаху швыряю ее на пол. Голова отлетает.

– Мне больно. Не надо так со мной, – расстроенно говорит голова голосом очень старого человека; что-то с динамиком.

– Нет! Зачем ты?! – кричит мальчишка и тянется грязными ногтями к моему лицу, надеясь расцарапать его.

Я поднимаю его за шиворот и встряхиваю в воздухе.

– Не смей! Не смей! – вопит рыжая. – Не смей его трогать, мразь! Удерживая извивающегося мальчишку в воздухе, я отпихиваю ее ладонью.

– Наз-зад! Колокольчик.

– Проверить регистрацию ребенка!

– Ребенок не зарегистрирован.

– Отдай! Отдай моего сына, паскуда!

– Я предупреждаю... Буду вынужден... Стоять!

– Отдай мне моего сына, ублюдок! Тварь! Безродная тварь!

– Что ты сказала?!

– Безродная мразь!

– Повтори!

– Безродная... Зззззз. Зз.

Кажется, мышцы и кости в ней вдруг заменили на воду, и она бурдюком обваливается на пол. Динь-дилинь!

– Извините... А мы... Мы можем идти? – Голубоглазая девушка в синем платье как будто просыпается.

– Нет. Установить родство с предыдущим образцом.

– Но вы же сказали...

– Я сказал – нет! Установить! Родство!

– Что ты сделал с моей мамой?!

– Не подходи ко мне, маленький ублюдок!

– Мама! Мамочка!

– Установлена прямая связь ребенок – родитель.

– Мне больно. Я просто хотел играть в салки.

– Но почему? Я не понимаю – почему? – Голубоглазая в платье.

– Вы должны дождаться прибытия командира нашего звена.

– Зачем? Почему? – Она совсем растеряна. Трогает свою грудь, разглядывает ладонь. – Извините... У меня молоко, кажется... Так неловко. Мне бы переодеться... Я вся...

– Вы нарушили Закон о Выборе. Согласно четвертому пункту Закона, вы являетесь безответственным родителем, ваш ребенок считается незаконнорожденным.

– Но ведь она совсем маленькая... Я хотела... Я просто не успела!

– Не двигайтесь. Мы должны дождаться прибытия командира моего звена. Только он уполномочен сделать вам инъекцию согласно законодательству.

– Инъекцию? Укол? Вы хотите сделать мне укол? Заразить меня старостью?!

– Ваша вина установлена. Прекрати реветь! Ты мужик или кто?! Ваша вина установлена!

– Но я... Но... Но ведь...

И тут крашенная азиатка, все это время стоявшая смирно, будто из нее батареи вытащили, проделывает финт, которого я от нее не ждал: с короткого разбега вламывается плечом в одну из стен – и выносит ее напроочь, и вылетает вместе с ней в дымную бездну. Ее дочь ничего не понимает – как и я. Ковыляет на своих ножонках к отверзшейся пропасти, бормочет:

– Мама? Мама?

Я широко улыбаюсь.

Девочка опускается на четвереньки, потом на пузо, норовя слезть в никуда спиной вперед, как будто слезает на пол с дивана. Еле успеваю подхватить ее. Она плачет.

– Отпустите нас...

– Мне больно. Я просто хотел...

– Заткнись!

Прижимая выкручивающуюся девчонку к себе, пинаю оторванную кукольную башку как мяч – и она исчезает из кадра. Пацан смотрит на меня так, будто я – сам сатана. Ничего, это он еще не знает, что его ждет дальше.

– Он ведь еще не пришел, ваш начальник? Отпустите нас! Пожалуйста, я вас очень прошу! Мы не скажем, мы никому не скажем, честное слово.

– Вы! Нарушили! Закон! О Выборе! Вы!

– Мама? – спрашивает у меня мелкая; розовая шапчонка напозла ей на глаза.

– Я умоляю вас... Ну что я могу...

– Завели! Нелегального! Ребенка! А! Это!

– Все, что угодно... Хотите, я...

– Значит! Что! Вам! Будет! Сделана! Расчетная! Инъекция!

– Смотрите...

– А! Ваш! Ребенок! Будет! Изъят!

– Но я ведь просто не успела! Я хотела, но не успела!

– Меня это не касается!

– Умоляю! Ради нее... Ради девочки... Хотя бы ради нее! Посмотрите на нее!

– Слушай, ты! Мне плевать на тебя и на твою мартышку, ясно?! Ты нарушила Закон! Больше я ничего не знаю и знать не хочу! Не могла перетерпеть – жрала бы пилюли! Чего тебе не хватало?! Чего?! Зачем тебе ребенок?! Молодая! Навсегда! Здоровая! Навсегда! Работай! Выбирайся из этого дерьма! Живи нормальной жизнью! Весь мир перед тобой! Все мужики твои! Зачем тебе эта обезьяна?!

– Не говорите так, не говорите так!

– А не хочешь жить как человек – живи как скотина! А скотина стареет! Скотинадохнет!

– Прощу вас!

– Мам-мма?!

– Нечего просить! Нечего! Из-за таких, как ты, Европе конец! Ты не понимаешь?! Ты не забыла зарегистрироваться. Ты не собиралась это делать. Думала, мы тебя не найдем. Думала, забьешься в этот клоповник и сможешь тут всю жизнь сидеть?! Ничего, нашли! Рано или поздно мы всех найдем. Всех вас. Всех!

Она уже ничего не говорит, только рыдает беззвучно.

Я гляжу на нее и чувствую, как судорога медленно отпускает мое лицо.

– Что будет с моей девочкой? С моим ребеночком... – Она спрашивает не у меня, а сама у себя.

– О! Улов!

Голос Эла. Оборачиваюсь.

В лазе виднеется лицо Аполлона. Отряхиваясь, звеньевой выбирается в комнату, за ним ползет еще кто-то, кажется, Бернар.

– А у нас такая заварушка случилась! Еле выбрались. Что тут у тебя?

– Вот... Трое детей, двое точно нелегалы... Взрослые. Эти нарушители... А этих пока не успел... Сопровитлялись. Надо еще проверить. Да, еще одна спрыгнула.

Эл осторожно подходит к выбитой стене, заглядывает в бездну.

– Трупов не видно. Жива – значит, найдем. Вызову-ка я сюда спецкоманду, пускай заберут сопляков. А взрослых пробьем еще разок по базе, ультразвуком пузо пройдем для верности – потом каждому по укольчику, и привет. Подержишь их, чтобы не рыпались? Бернар, пригляди за мелюзгой!

Я киваю. Хочу одного – наконец убраться из этой халупы, чтобы перестать упираться головой в потолок, а плечами – в стены. Но я киваю.

Эл задирает распростертой на полу рыжей с косичками платье, приставляет ультразвук: на картинке – какая-то амeba. О, эта еще и беременна. Значит, и папаше их кранты. В розыск – и в оборот.

Передаю девчонку («Мама? Мама?») Бернару, он хватает за шиворот окрысившегося пацана, зажимает ладонью рот узкоглазой. Он прав – какой смысл с ними церемониться?

Теперь уколы. Мои руки мелко дрожат, и, чтобы подавить эту дрожь, я вцепляюсь в кисти девушки в намокшем платье изо всех сил, до синяков. Но она, кажется, даже не чувствует этого.

– Вы ведь начальник, да? – Синющие глаза просительно заглядывают Элу в его зенки-пустышки, пока тот приставляет ей к запястью иньектор и спускает курок. – Скажите, вы же ничего не сделаете с моей девочкой? Скажите...

Наш звеньевой только хмыкает.

Глава IV. Сны

За окном тосканские холмы, наверняка давным-давно снесенные и застроенные, в руке у меня початая бутылка, в ушах – ее крик. «Куда вы ее уносите?! Куда вы ее уносите?! Куда вы ее уносите?!» Черт бы побрал эту бабу. Наверное, раз триста подряд повторила. Только зря она затеяла всю эту канитель: правды ей никто не скажет.

Как-то нервно сегодня получилось.

Я делаю большой глоток и закрываю глаза. Хочу увидеть ту сучку в полосатой широкой шляпе, представить себе, как сдергиваю, разрываю на ней кофейный прямоугольник, как она прикрывается крест-накрест руками... А вижу темные круги на коротком синем платье, просачивающиеся сквозь ткань белые капли.

Забывать. Уснуть.

Лезу за спасительными шариками. Никого не хочу больше видеть. Отыскиваю снотворное, открываю пачку... Пусто. Так. Так-так. Так-так-так! Как же это со мной получилось?

Это все из-за вчерашнего спора с проекцией продавщицы у киоска... По душам поболтал о жизни с интерфейсом торгового автомата, кретин. Исповедался голограмме – и хорошо еще, что не трахнул ее.

Ладно. Ладно! Надо просто сбегать туда и купить новую пачку.

Я принял решение – но никуда не иду. Заливаю в себя еще текилы и остаюсь на месте, впившись в зеленые холмы и клубы облаков. Ноги мягкие, как воздухом накачаны, голова плывет.

Даже если вместо вчерашней стриженной кобылки я потребую у трейдомата ту кормистую курчавую итальянку, ничего не поменяется: они просто разные оболочки одной и той же программы. Итальянка точно так же будет впаривать мне таблетки счастья: «Может быть, сегодня?» – хотя точно так же будет знать, что прихожу я туда совсем за другим: «Мы всегда держим для вас бутылочку про запас».

Не пойду никуда. Лучше просто еще выпью. Дерну спуск. Если глотнуть побольше, спирт смоев меня из душевной комнатенки, в которой я застрял, в блаженную пустоту.

Таблы – это тренд. Выбирай любые на вкус. Пилюли счастья, безмятежности, смысла... Наша земля держится на трех слонах, те – на панцире огромной черепахи, черепаха – на спине невообразимых размеров кита, и все они – на таблетках.

Но мне ничего, кроме снотворного, не надо. Все остальные таблы, допустим, и вправляют мозги, но делают это своеобразно. Такое ощущение, что к тебе в голову подселяют постороннего. Другим, может, и нормально, а меня раздражает: мне в моей черепушке и одному тесно, мне сокамерники не нужны.

Я пробовал завязать с сонными таблетками.

Надеялся, что однажды меня наконец освободят, что я перестану возвращаться в него каждой ночью, в которую я не глушу себя снотворным. Должен ведь он когда-то забыться, поблукнуть, сгинуть? Не может же он сидеть во мне – а я в нем – всю вечность?

До дна! Досуха!

Текила закручивает мир вокруг меня, поднимает смерч, который затягивает меня в свою воронку, отрывает от земли, тащит в воздух легко, как будто я не девяностокилограммовый жлоб, а маленькая Элли, и я отчаянно цепляюсь взглядом за фальш-идиллию за фальш-окном и умоляю ураган, чтобы он зашвырнул меня вместе с моим гребаным домиком в волшебную несуществующую страну Тоскану.

Но с ураганом не договориться. Закрываю глаза.

– Я сбегаю отсюда, – слышу я шепот в темноте.

– Замолчи и спи. Отсюда нельзя сбежать, – возражает другой, тоже шепотом.

– А я сбегу.

– Не говори так. Ты же знаешь, если они нас услышат...

– Пусть слушают. Мне плевать.

– Ты что?! Забыл, что они сделали с Девятьсот Шестым?! Его в склеп забрали!

Склеп. От этого пыльного слова, устаревшего, неуместного в сияющем композитном мире, веет чем-то настолько жутким, что у меня потеют ладони. Я больше никогда не слышал его – с тех самых пор.

– Ну и что? – В первом голосе заметно убавилось уверенности.

– Его же до сих пор не выпустили оттуда... А сколько времени прошло! Склеп расположен отдельно от вереницы комнат для собеседований, а где именно – не знает никто. Дверь в склеп не отличить от всех остальных дверей, на ней нет никаких обозначений. Если вдуматься, это логично: врата в ад тоже должны были бы выглядеть как вход в подсобку. А склеп и есть филиал преисподней.

Стены комнат для собеседований сделаны из водоотталкивающего материала, а полы оборудованы стоками в пол. О том, что в них творится, воспитанникам друг другу болтать запрещено, но они все равно шепчутся: когда понимаешь, для чего нужны эти стоки, молчать трудно. Однако, что бы с тобой ни делали там, ты ни на секунду не забываешь: тех, кого им не удастся сломать в комнатах для собеседования, ведут в склеп – и боль бледнеет в тени страха.

Побывавшие в склепе о нем никогда не рассказывают; якобы ничего не могут вспомнить – даже то, где он находится. Но возвращаются оттуда совсем не те, кого туда забирали, – а некоторые не возвращаются вовсе. Куда делся отправленный в склеп, не решается спросить никто – любопытных сразу уводят в комнаты для собеседований.

– Девятьсот Шестой не собирался никуда бежать! – вклинивается третий голос. – Его за другое так! Он про родителей говорил. Я сам слышал.

Молчание.

– И что рассказывал? – наконец пищит кто-то.

– Заткнись, Двести Двадцать! Какая разница, что он там нес!

– Не заткнушь. Не заткнушь.

– Ты нас всех подставляешь, гнида! – кричат ему шепотом. – Хватит о родителях вообще!

– А тебе что, не хочется знать, где сейчас твои? – упрямствует тот. – Как у них дела?

– Вообще никак! – снова первый. – Я просто хочу сбежать отсюда, и все. А вы все оставайтесь тут тухнуть! И всю жизнь сытеться от страха себе в койку!

Я узнаю этот голос – решительный, высокий, детский. Это мой голос.

Снимаю с глаз повязку и нахожу себя в маленькой палате. Спальные нары в четыре яруса вдоль белых стен; по нарам распаханы ровно девяносто восемь тел. Мальчики. Все тут или спят, или притворяются спящими. Все помещение затоплено слепяще ярким светом. Невозможно понять, откуда он идет, и кажется, что сияет сам воздух. Сквозь закрытые веки он проникает с легкостью, разве что окрашиваясь алым от кровеносных сосудов. Надо быть чертовски измотанным, чтобы уснуть в этом коктейле из света и крови – поэтому у каждого на глазах повязка. Освещение не гаснет ни на секунду: все всегда должны быть на виду, и нет ни одеял, ни подушек, чтобы спрятаться или хотя бы прикрыться.

– Давайте спать, а? – просит кто-то. – И так до побудки уже всего ничего осталось!

Я оборачиваюсь на Тридцать Восьмого, будто сошедшего с экрана мальчика-загляденье – он тоже стащил с глаз повязку и надул свои губки.

– Вот-вот. Заткнись уже, Семьсот Семнадцать! А если они и правда все слышат? – поддакивает ушастый и прыщавый Пятьсот Восемьдесят Четвертый, не снимая на всякий случай повязки.

– Сам заткнись! Ссыкло! А не боишься, что они увидят, как ты теребишь свою... И тут дверь распахивается.

Тридцать Восьмой как подкошенный валится в койку лицом вниз. Я начинаю было натягивать повязку – но не успеваю. Холодею, застываю, вжимаюсь в стену, зачем-то зажмуриваюсь. Мои нары – нижние, в самом углу, от входа меня не видно, но если я сделаю резкое движение сейчас, они точно заметят неладное.

Я жду вожатых – но шаги совсем другие.

Мелкие, легкие и какие-то нарушенные – шаркающие, немерные. Это не они... Неужели Девятьсот Шестого наконец выпустили из склепа?! Осторожно высовываюсь из своей норы.

Встречаюсь взглядами со сгорбленным обритым мальчонкой. Под глазами у него черные тени, одной рукой он бережно придерживает другую, неловко повернутую.

– Шесть-Пять-Четыре? – разочарованно тяну я. – Тебя из лазарета выписали? А мы думали, они тебя на собеседовании совсем ухайдокали...

Его запавшие глаза округляются, он беззвучно шевелит губами, словно пытается что-то сказать мне, но...

Я подаюсь вперед, чтобы расслышать его, и вижу.....застывшую в проеме фигуру.

Вдвое выше и вчетверо тяжелей самого крепкого пацана в нашей палате. Белый балахон, капюшон накинута, вместо собственного лица – лицо Зевса. Маска с черными прорезями. С перехваченным дыханием я медленно-медленно втягиваюсь назад, в свою нишу. Не знаю, засек ли он меня... Но если засек...

Дверь захлопывается.

Шестьсот Пятьдесят Четвертый пытается залезть на свою полку – третью снизу, но никак не может этого сделать. Рука у него, кажется, перебита. Я смотрю, как он делает одну попытку, морщась от боли, потом еще одну. Никто не вмешивается. Все лежат смирно, ослепленные своими глазными повязками. Все спят. Все лгут. Во сне люди храпят, постанывают, а самые неосторожные еще и разговаривают. А в палате стоит душная тишина, в которой единственный звук – отчаянное сопение Шестьсот Пятьдесят Четвертого, который пытается забраться на свое место. Ему это почти удается, он хочет закинуть ногу на кровать, но тут сломанная кисть подводит; он вскрикивает от боли и падает на пол.

– Иди сюда, – зачем-то говорю я. – Ляг на мою койку, а я на твоей досплю.

– Нет. – Он ожесточенно мотает головой. – Это не мое место. Я не могу. Это не по правилам.

И лезет снова. Потом, бледный, садится на пол и сосредоточенно потеет.

– Тебе сказали, за что тебя? – спрашиваю я.

– За что и всех. – Он пожимает плечами. Взывает сигнал «Подъем».

Девяносто восемь пацанов срывают с себя повязки и сыплются с нар на пол.

– Помывка!

Все стягивают с себя пижамы с номерами, комкают одежду, зашвыривают ее на свои полки, соединяются в тройную цепь и, пряча в пригоршнях свои стручки, зябко жмутся, дожидаясь, пока не откроется дверь, – а потом бледной гусеницей ползут через санитарный блок.

По трое мы проходим через душевую арку и – мокрые, голые, мнущиеся – выстраиваемся в зале. Здесь наша щербатая сотня, и еще одна, и еще – две старших группы.

Вдоль нашей тройной шеренги тяжело шагает главный вожатый. Его глаза так глубоко утоплены в пробоинах Зевсовых глазниц, что кажется, будто их там нет вовсе, что маска надета на пустоту. Он невысок, но голова у него такая толстая, огромная, что даже маска Зевса налезает на него с трудом; голос она изрыгает низкий, трубный, страшный.

– Дрянь! – надрывается он. – Вы жалкая дрянь! Чертово семя! Ваше счастье, что мы живем в самом гуманном из государств, иначе вас давно передавили бы всех по очереди! С такими преступниками, как вы, в каком-нибудь Индокитае не церемонятся! И только здесь вас терпят!

Жерлами своих отсутствующих глаз он присасывается к нашим мечущимся зрачкам, и горе тому, чей взгляд он перехватит.

– Каждый европеец имеет право на бессмертие! – ревет он. – Только поэтому вы еще живы, ублюдки! Но мы для вас припасли кое-что пострашнее смерти! Вы будете вечно торчать тут, всю свою ублюдочью бесконечную жизнь будете тут торчать! Вам, вырождакам, своей вины не искупить! Потому что за каждый день, который вы здесь проводите, вы успеваете наделать столько, чтобы еще два тут сидеть!

Глаза-присоски переползают с одного воспитанника на другого. За старшим следуют еще двое вожатых, неотличимые от него, если бы не рост.

– Шесть-Девять-Один, – произносит Зевс, останавливаясь вдруг шагах в десяти от меня. – На воспитательные процедуры.

– Слушаюсь, – сникает Шестьсот Девяносто Первый.

Своей покорностью он может заслужить чуточку снисхождения в комнатах для собеседований – или нет. Это лотерея, как и то, что сейчас для воспитательных процедур отобрали именно Шестьсот Девяносто Первого.

Старшему докладывают обо всех наших грехах и грешках, и, услышав раз, он не забудет ни единого из них – никогда. Шестьсот Девяносто Первого он может карать сейчас за проступок, совершенный сегодняшней ночью, или за ошибку, которую тот допустил год назад. Или за что-то, чего Шестьсот Девяносто Первый еще не делал. Мы все виновны изначально, вожатым не нужно выискивать повод, чтобы нас наказать.

– Ступай в комнату «А», – говорит старший.

И Шестьсот Девяносто Первый послушно тащится в пыточную – сам, без сопровождения.

Старший приближается ко мне; впереди себя он гонит такую волну ужаса, что у моих соседей начинают трястись колени. По-настоящему трястись, взаправду. Знает ли он о том, что я говорил сегодня в палате?

Я и сам весь вибрирую. Чувствую, как волоски привстают у меня на шее. Я хочу спрятаться от старшего, деть себя хоть куда-нибудь, но не могу.

Напротив нас стоит еще одна шеренга. В ней пятнадцатилетние – прыщавые, угловатые, с раздувшимися мышцами и внезапно рванувшими вверх позвоночными столбами, с тошнотным курчавым мхом между ног.

И ровно передо мной – он.

Пятьсот Третий.

Невысокий рядом со своими долговязыми однокашниками, но весь сплетенный из перекрученных мускулов и жил, он стоит чуть особняком: его соседи прижимаются к другим, лишь бы держаться от него подальше. Как будто вокруг Пятьсот Третьего – силовое поле, отталкивающее других людей.

Большие зеленые глаза, чуть приплюснутый нос, широкий рот и жесткие черные волосы – в его внешности нет ничего отвратительного; его сторонятся не из-за уродства. Надо изучить его, чтобы понять причину. Глаза полуприкрыты, но видно, что в них тлеет бешенство. Нос сломан в драках – и Пятьсот Третий не хочет его исправлять. Рот большой, плотоядный, губы искусанные. Волосы острижены коротко, чтобы за них нельзя было схватиться. Плечи покатые – и он держит их нарочито низко в какой-то своей звериной стойке. Переминается с ноги на ногу, постоянно на взводе, словно нервный жгут, в который свернуто его тело, все время хочет развязаться, раскрутиться, хлестнуть.

– Что палишься, малыш? – подмигивает он мне. – Передумал?

Я не слышу его голоса, но знаю, что он говорит. Озноб сменяется жаром. В уши начинает колотиться кровь. Я отвожу взгляд – и утыкаюсь в старшего вожатого.

– Преступники! – орет старший, подбираясь ко мне. – Сдохнуть, вот чего вы все заслуживаете!

Пятьсот Третий меня рано или поздно достанет. А тогда уж лучше и вправду сдохнуть.
– Тебе понравится! – шепчет Пятьсот Третий из-за спины старшего вожатого.

– Но вместо того чтобы перебить вас, мы тратим на вас еду, воду, воздух! Мы даем вам образование! Учим вас выживать! Драться! Терпеть боль! Набиваем в ваши тупые головы знания! Зачем?!

Он останавливается прямо надо мной. Черные отверстия наводятся на меня – не того меня, который стоит в зале, дрожа, прикрываясь ладонями, глядя старшему куда-то в солнечное сплетение, а того, кто сидит, сжавшись, внутри этого мальчишки и смотрит через его зрачки, как в дверной глазок.

– Зачем?! – громыкает у меня в ушах. – Зачем, Семьсот Семнадцатый?!

Я не сразу понимаю, что он требует ответа именно у меня. Значит, донесли... Я еле сглатываю – во рту сухо, гортань трется о корень языка.

– Чтобы. Однажды. Мы. Могли. Заплатить. За все. – Я выдавливаю слово за словом. – Искупить. Вину...

Старший вожатый молчит, с тихим свистом втягивая воздух через дырки в маске. Лицо Зевса парализовано, будто в момент яростного иступления его застиг инсульт.

– Малышшшш... – по-удавьи шипит из-за его спины Пятьсот Третий, но старший почему-то ничего не слышит.

– А зачем тебе вообще искупать свою вину? – спрашивает у меня старший. Пот струится с моего лба, пот течет по спине.

– Чтобы...

– Шшшшшшш...

Нельзя жаловаться вожатым. Тот, кто жалуется, просто откладывает расправу над собой, но за эту отсрочку ему набегает проценты боли и унижения. Краем глаза вижу, как старший отцепляется от меня на секунду – скользит горгоньим взглядом по Пятьсот Третьему, и гнусное шипение умирает. Снова наставляет свои дыры на меня.

– Чтобы?!

– Чтобы свалить отсюда! Свалить отсюда хоть когда-нибудь! Хоть куда-нибудь!

Я затыкаю свой рот.

Жду пощечины. Оскорблений. Жду номера комнаты для собеседований, куда мне предписано явиться, чтобы из меня выбили дурь – выдавили ее из меня в сток в полу. Но старший не делает ничего.

Молчание затягивается. Пот выедаёт глаза. Не могу утереться: руки заняты.

Потом решаюсь наконец. Вскидываю подбородок, готовясь встретиться с его прорезями...

Старший ушел. Двинулся дальше. Оставил меня в покое.

– Чушь! Никто из вас не свалит отсюда – никогда! Вам всем известно, есть только один способ! Сдать экзамены! Выдержать испытания! Завалите хоть одно – останетесь гнить тут вечно! – Его голос грохочет уже где-то сбоку, удаляясь.

Я гляжу на Пятьсот Третьего. Тот улыбается.

Показываю ему средний палец. Он растягивает свою пасть еще шире.

И не отпускает меня, пока вожатые не разводят наши сотни в разные стороны – одеваться и топтать на занятия. И, уже уходя, еще оглядывается и подмигивает.

Он выбрал меня только потому, что на утреннем построении я стою напротив.

От Пятьсот Третьего меня не защитит никто. Мало того, что я на голову ниже, – он еще и старше меня на целых три года. А это срок, по моим прикидкам, мало чем уступающий вечности.

Вожатые в эти дела не вмешиваются, просто выдают тем, кто повзрослее, таблетки безмятежности – и все. Будь я в нормальной десятке, было б хотя бы у кого просить помощи... Хотя кто решится подняться против Пятьсот Третьего и его упырей?

Кодекс говорит, что у воспитанника нет никого ближе, чем товарищи по десятке, – и быть не может. Но Пятьсот Третьему вместо товарищей удобней иметь рабов и любовников, превращая одних в других и обратно. Его десятка – бич божий.

Зато моя – сборище стукачей, слюнтяев и придурков. Сколько себя помню, всегда старался держаться от них подальше. Дебилам нельзя доверять, но слабакам верить еще опаснее. Вот списочек.

Тридцать Восьмой – лощеный красавчик, ссыкливый кудрявый ангелок, пай-мальчик и перестраховщик, который за свою красоту и за свою пугливую платит оброк тем старшегруппникам, которые не принимают таблетки безмятежности.

Сто Пятьдесят Пятый – губастый весельчак-хулиган, сдающий товарищей за дополнительный час в кинозале. Поймаешь – божится, что это не он, прижмешь – клянется, что предать его заставили под пытками. Все врет. Нужно время, чтобы понять: для этого улыбчивого паренька все люди в мире, кроме него самого, – дурацкие куклы, которыми нужно вертеть в свое удовольствие.

Триста Десятый – серьезный крепыш со стесанным болевым порогом, делящий мир аккуратно на две половины: темную и светлую. Такому нельзя рассказать ничего тайного – ведь в тайне хранят только то, что на свет лучше не вытаскивать. Да и не может умный человек верить, что каждое дело можно сложить либо в коробочку с надписью «хорошо», либо в коробочку с надписью «плохо».

Девятисотый – рослый, хмурый, бессловесный толстяк. Он выше всех нас и выше даже пятнадцатилетних, но при этом квелый до ужаса – и в довершение всего невыносимый тормоз. Добиться от него чего-то невозможно, лучше ни о чем не просить и ничего не предлагать: в лучшем случае – не поймет, в худшем – заложит.

Двести Двадцатый – рыжий и весь в веснушках, с таким простецким и добрым лицом, что хочется немедленно ему исповедаться. Он и сам готов поделиться с кем угодно своими секретиками, да такими, что просто дослушать их до конца значит нарушить правила, а уж сочувственно кивнуть – точно обречь себя на воспитательную беседу. И вот странность – самого Двести Двадцатого с синяками никто никогда не видел, хотя в комнаты для собеседований его вызывают часто. Зато тех, кто с ним откровенничал, наказание настигает неизбежно, хотя и не сразу.

Седьмой – пухлик, тугодум и плакса. Никогда не разговаривал с ним дольше минуты: терпения не хватало дожидаться ответа, а если его чуть встряхнешь – он сразу в слезы.

Пятьсот Восемьдесят Четвертый – прыщавый застенчивый онанист, контуженный преждевременным гормональным взрывом.

Сто Шестьдесят Третий – злобный шкет, яростный драчун, вечно курсирующий между комнатами для собеседований и лазаретом – не храбрый, а отчаянно безмозглый, упрямый, не знающий страха и не знающий, как пишется это слово.

Семьсот Семнадцатый. Ну, это я. Одного не хватает. Девятьсот Шестого. Того самого, которого забрали в склеп.

– Она не преступница, – говорит мне Девятьсот Шестой.

– Кто? – спрашиваю я у него.

– Моя мать.

– Завали хлебало! – Я бью его в плечо.

– Сам завали!

– Заткнись, я тебе сказал! – Оглядываюсь на провокатора Двести Двадцатого, который, наострив уши, подкрадывается к нам.

– Да пошел ты!

– Я тебе говорю... В правилах...

Оборачиваюсь к Двести Двадцатому лицом; тот уже весь изулыбался в предвкушении. Пусть хотя бы знает, что я его засек.

– Слышь! – Двести Двадцатый отмахивается от меня. – Если ты такая баба, что даже послушать про это боишься, то давай двигай! Что ты там говорил, Девятьсот Шестой?

Мы сидим в кинозале. Последний час до отбоя нам разрешают оставить себе. Только этот час и можно засчитать наподобие человеческой жизни. Час в сутки. Мы живем в двадцать четыре раза меньше тех, кто на воле. Хотя о том, как они там существуют, и о том, что они существуют вообще, мы можем узнать только из увиденного в кинозале. И конечно, все наши сведения о бабах тоже почерпнуты из фильмов. Мало кто помнит свою жизнь до интерната – и уж точно никто в этом не сознается.

– Говорю, что моя мама – хороший человек, и она не виновата! – талдычит Девятьсот Шестой.

В кинозале – сто мест. Сто неудобных жестких кресел и сто маленьких экранов. Никаких объемных очков, никакой прямой проекции в зрачок. То, на что глядишь ты, может видеть каждый.

Раз в десять дней нашу сотню приводят сюда перед отбоем, чтобы мы могли культурно отдохнуть. Любой фильм из плейлиста длится не меньше двух часов; чтобы узнать, чем кончилась история, нужно ждать десять дней – и не совершить за это время ни единой оплошности.

На ста экранчиках – сто разных движущихся картинок. Каждый выбирает себе видео по вкусу. Кто-то смотрит про рыцарей, кто-то про космос, кто-то – хроники Европейской революции двадцать второго века; большинство за два уха уплетает боевики. Но любой трэш тут деликатес, а сам поход в кинозал – маленькое чудо. Это, наверное, единственный выбор, который нам дают сделать в интернате. Самому решать, какое видео будешь смотреть, – все равно что заказывать сны.

Но и такая, одна в десять дней, прогулка на воле возможна только на коротком поводке: по залу расхаживают вожатые и заглядывают в наши сны из-за наших спин. Может, это и не выбор никакой, а очередная проверка на благонадежность.

Слева от меня сидит Девятьсот Шестой. Как всегда.

Я собираюсь сказать ему что-то. Сделать признание.

«Думаю отсюда сбежать. Не хочешь со мной?» – репетирую я про себя.

Бросаю на него косой взгляд и молчу.

«Давай смоемся отсюда... Одному у меня не получится, а вдвоем...» Жую щеку. Не могу. Хочу ему довериться и не могу. Отворачиваюсь от него, плююсь в экран.

Передо мной – дом под прямой крышей. Он весь составлен из параллелепипедов и кубов и вовсе не похож на сказочные домики из сладких детских анимашек. Простые, строгие формы, светло-бежевые однотонные стены... Но мне он почему-то кажется ужасно уютным – может быть, из-за огромных окон, или дело в дощатой коричневой веранде под навесом, которая окружает его по периметру. Несмотря на свою кажущуюся прямолинейность, свою угловатость, он манит меня. Этот дом обжитой – и потому живой.

Перед ним – ухоженная лужайка. В подстриженной траве стоят два забавных одноместных гамака: яйцеобразные плетеные кресла подвешены на длинных изогнутых ножках, качаются в такт. В одном – мужчина в полотняных штанах и льняной рубашке, ветерок перебирает пшеничные волосы, дым от самокрутки тонко вьется, размывается порывами ветра. В другом сидит, подтянув загорелые ноги, молодая женщина в легком белом платье, потягивает из бокала бледное вино и строчит что-то в небольшой гаджет – старинный телефон.

Их в этом мирке двое, но угадывается присутствие и еще кого-то. Внимательный зритель, задержав стоп-кадром панораму, заметит брошенный в траву велосипед, слишком маленький и

для курящего мужчины, и для девушки с телефоном. Растянув картинку, в приближении найдешь на крыльце детские сандалии. И еще: рядом с женщиной в кресле-яйце сидит маленький пушистый белый медведь. На одном из кадров, если присмотреться, можно даже разглядеть серебряные ягоды-глаза на удивленной мордочке. Медведь не движется, это не экопет, а просто мягкая игрушка. Тем удивительней, что девушка подвинулась ради него, чтобы медведь мог тоже сидеть в кресле, что она, как живого, прикрыла его рукой, беря под свою уютную защиту.

Играет тихо какая-то музыка: струны и колокольчики. Ветер причесывает траву невидимыми пальцами, подкачивает коконы кресел.

Это самое начало «И глухие услышат», старинного кино про европейскую гражданскую войну девяносто седьмого года. Вот-вот дом, сложенный из кубиков, разорят, девушку изнасилуют и приколотят гвоздями к веранде, а потом спалят все дотла. Мужчина, опоздавший вернуться домой на день, за этот один день лишится всей своей жизни, будет вытолкнут в войну – и станет убивать людей, пока не доберется до тех, кто сломал его мир.

До финальных титров «Глухих» я дотерпел всего единожды, зато первые минуты пересматривал бесконечное число раз. Для меня это ритуал: каждое посещение кинозала непременно начинается с «Глухих», а уж потом я выбираю что-нибудь для развлечения.

Я всегда останавливаю время для этой счастливой пары за две секунды до того, как в конце аллеи появляются чужаки, и за пять до того, как начинает зудеть тревожная мелодия, анонсируя грядущую расправу. Не потому что пытаюсь этим спасти девушку в белом платье или ее дом – мне ведь уже двенадцать, и я давно все знаю про устройство жизни. Нет. Просто потому что дальше мне неинтересно: когда вместо струн зазвучит назойливый нервный бит, «Глухие» превратятся в обычное праведное крошилово, в один из ста тысяч боевиков, которые составляют плейлист нашего кинозала.

Я разглядываю завалившийся набок маленький велосипед, убеждаюсь в который раз, что обувь на веранде может быть только детской; пытаюсь понять, откуда у женщины в белом такой пиетет перед игрушечным медведем, – может быть, потому что он – полномочный посол в этом кресле кого-то другого, живого, любимого? И понимаю, что из кино вырезали что-то важное. Конечно, я догадываюсь что.

Почти все видео в плейлисте, кроме пары древних анимационных фильмов, – о героях и о борьбе, о войнах и о революциях. Вожатые говорят, это педагогично: из нас ведь воспитывают воинов. Но часто бывает – смотришь фильм и вдруг теряешь сюжетную нить, путаешься в истории. Как будто с людьми в кино случилось что-то, о чем зрителям забыли сказать. Я не единственный, кто замечает, что из фильмов пропали сцены, но глядеть продолжают все. В конце концов, ведь самое-то главное – драки и погони, приключения, то, ради чего все и ходят в кинозал, – не тронули!

По сотне дисплеев вокруг меня мчатся куда-то мигающие полицейские машины, законченные в броню кони, подбитые пропеллерные самолеты, моторные лодки, космические челноки, трубящие боевые слоны, люди в смокингах и в окровавленной военной форме, парусные корабли, реактивные глайдеры... Вся история человечества проносится в дыму и пламени из ниоткуда в никуда.

На моем экране – стоп-кадр. Дом из кубиков, кресла-коконы, сигаретный дымок, легкое платье, белый медведь с серебряными глазами.

А у Девятьсот Шестого – брошенный в траву велосипед, детские сандалии на коричневой веранде, огромные окна.

Горизонт у нас общий: изгибы изумрудных тосканских холмов под небесной лазурью, кипарисовые веретена, рассыпающиеся часовенки из желтого камня. Бежевый дом с дощатой верандой находится под Флоренцией четыреста лет назад.

Мы не обсуждаем, почему раз в десять дней мы садимся с ним рядом и перед тем, как приняться за прилежный просмотр кино о войнах и революциях, включаем «Глухих» и вместе

прокручиваем первые минуты – до того момента, как стихают струны и колокольчики. Это наш заговор. Нас связывает обет молчания.

И вот – пожалуйста: «Моя мама – хороший человек, и она не виновата!» Вслух?! Тут кругом доносчики! Нас же разоблачат! Выдадут!

– Заткнись, я тебе сказал! – Я пихаю Девятьсот Шестого в грудь. – У всех преступники, а у тебя нет?!

– А мне до вас всех дела нет! Моя мать – честный человек!

– Конечно! – горячо поддерживает Двести Двадцатый. – Так ей и скажи!

– И скажу!

– Да пошли вы все!

Я вскакиваю со своего места и ухожу, злой на этого несчастного идиота. Раз он такой храбрый, пускай выворачивает душу наизнанку перед рыжим стукачом, мне плевать. Что мог, я сделал – и дальше подставляться из-за его упертости не намерен!

А что еще я могу сделать?

Ничего!

– Сам виноват! – кричу я Девятьсот Шестому, когда вожатые увлакивают его, сопротивляющегося, раскрасневшегося, в склеп. – Дебил!

Остальные смотрят молча.

Каждый день я ищу его глазами в столовой, на построении. Задерживаюсь, проходя мимо комнат для собеседования. Вслушиваюсь по ночам – вдруг в коридоре шаги, вдруг его выпустили? Мне не спится.

– Я сбегу отсюда! – однажды слышу я собственный голос.

– Замолчи и спи. Отсюда нельзя сбежать, – шепчет мне Триста Десятый, крепыш с черно-белым зрением.

– А я сбегу!

– Не говори так. Ты же знаешь, если они нас услышат... – лепечет сахарный серафимчик Тридцать Восьмой.

– Пусть слушают. Мне плевать.

– Ты что?! Забыл, что они сделали с Девятьсот Шестым?! Его в склеп забрали! – Тридцать Восьмой сипнет от страха.

Я хочу сказать «Я тут ни при чем!» или «Я его предупреждал!», но вместо этого говорю совсем другое:

– Ну и что?

– Его же до сих пор не выпустили оттуда... А сколько времени прошло!

– Девятьсот Шестой не собирался никуда бежать! – встречает подлец Двести Двадцатый. – Его за другое так! Он про родителей говорил. Я сам слышал.

Ему мало Девятьсот Шестого. Сдал одного, теперь хочет использовать его историю как наживку для других...

– И что рассказывал? – клюет кто-то из другой десятки.

– Заткнись, Двести Двадцать! Какая разница, что он там нес! – У меня сжимаются кулаки.

– Не заткнушь. Не заткнушь.

– Ты нас всех подставляешь, гнида! – кричу я ему шепотом. – Хватит о родителях вообще!

– А тебе что, не хочется знать, где они сейчас? – подначивает он меня. – Как у них дела?

– Вообще никак! Я просто хочу сбежать отсюда, и все. А вы все оставайтесь тут тухнуть!

И всю жизнь ссытесь от страха себе в койку!

– Давайте спать, а? – примирительно просит Тридцать Восьмой. – И так до побудки уже всего ничего осталось!

Двести Двадцатый удовлетворенно замолкает. Моего выступления ему вполне хватит для жирного, наваристого доноса. Я хочу разбить ему нос, хочу вывернуть ему руку, хочу, чтобы он кричал и просил отпустить, хочу зубы ему повыбивать. Давно уже хочу – и ничего не делаю, ссыкло.

– Вот-вот. Заткнись уже, Семьсот Семнадцать! А если они и правда все слышат? – поддакивает ушастый и прыщавый Пятьсот Восемьдесят Четвертый, не снимая на всякий случай повязки.

– Сам заткнись! Ссыкло! – кричу ему я. – А не боишься, что они увидят, как ты теребишь свою...

Открывается дверь. Я изо всех сил, почти вслух, прошу, чтобы это был Девятьсот Шестой.

«Думаю отсюда сбежать. Не хочешь со мной?».

Пользуюсь каждой возможностью. Стараюсь улизнуть с занятий, притворяюсь больным, по нескольку раз за ночь отпрашиваюсь в сортир – все для того, чтобы одному пройти по коридорам, приглядываясь, прислушиваясь.

Белые гладкие стены, ряд белых дверей без ручек, назойливый белый свет с потолка. У коридора нет конца – он закругляется и с обеих сторон прячется сам в себе: проем скрывается за поворотом. Если пойти вперед, попадешь туда же, откуда вышел. Геометрия.

Потолок не только светит, но и смотрит. Он весь – одна система наблюдения с тысячей глаз, но зрачков ее не видно – они сплошь затянуты молочным бельмом. Из-за этого бельма не знаешь, видят ли тебя сейчас, поэтому приходится вести себя так, будто тебя видят всегда.

Спрятаться нигде. Тут нет тупиков, нет темных углов – и нет углов вообще, нет закутков и нет даже щелей, в которые можно было бы забиться. Нет окон. Ни единого окна. Об окнах я знаю из кино.

Из интерната нет выхода. Это пространство замкнуто, как яйцо.

Тут всего три этажа, соединенные лифтом с тремя кнопками. И каждый из трех этажей выглядит точно так же, как этот. На первом – ясли, где держат самую мелюзгу, на втором – младшие, до одиннадцати лет, на третьем – взрослые, от двенадцати и до конца.

Все двери в круглом коридоре одинаковые, и ни на одной нет надписей. На третьем этаже их тридцать. Со временем учишься запоминать, где какая.

Четыре спальных палаты, санблок, зал собраний, девять лекториев, четыре спортивных зала, дверь в комнаты для собеседований, спальня вожатых и кабинет старшего вожатого, кинозал, пять рингов, столовая, лифт.

Я обхожу двери одну за одной, в тысячный раз пересчитывая, чтобы убедиться: их действительно тридцать, я ничего не пропустил.

Вспоминаю, как искал отсюда выход, еще когда был совсем мелким; карта первого этажа выжжена на моей глазной сетчатке, до того часто я рисовал ее и разглядывал. Те же тридцать дверей: три палаты, спальня вожатых, кабинет старшего, санблок, зал собраний, три спортзала, игровая, пять рингов, десять учебных классов, кинозал, дверь в комнаты для собеседований, столовая, лифт.

Ни одна дверь не ведет наружу. Помню, маленьким я думал, что выход из интерната должен быть где-то на втором или на третьем. Когда подрос и меня перевели на второй, мне оставался только третий. Теперь, когда я живу на третьем, мне кажется, что я, наверное, просто плохо искал на первых двух этажах.

Нас с самого начала приучают к мысли, что отсюда нет выхода. Но ведь должен быть вход! Ведь мелкие тут откуда-то берутся!

Я терпеливо обхожу дверь за дверью; на занятиях осматриваю аудитории и ринги. Все стены гладки и герметичны; если тереться о них чересчур назойливо, они начинают покалывать током.

Меня вызывают в комнату для собеседований. Интересуются, почему я так себя веду, и, увлекшись, ломают мне безымянный палец на левой руке. Адская боль; палец торчит, согнутый в обратную сторону. Я смотрю на него и понимаю, что меня теперь должны отправить в лазарет. Хорошо: так я смогу попасть на второй этаж и проверить его заново.

– Что ты ищешь? – спрашивает меня вожатый.

– Выход, – говорю я. Он смеется.

Когда я жил на первом, пацаны перед сном шептались, что интернат закопан на глубине нескольких километров, что он находится в бункере, устроенном в гранитном массиве. Что мы – единственные, кто пережил ядерную войну, и что мы – надежда человечества. Другие клялись, что мы заключены на борту ракеты, отправленной за пределы Солнечной системы, и должны стать первыми колонистами, которые будут осваивать Тау Кита. Простительно: нам было лет по пять-шесть. Вожатые уже тогда прямо говорили нам, что мы – отбросы и преступники, что нас засунули в это проклятое яйцо, потому что другого места для нас на Земле нету, но когда тебе шесть лет, любая сказка лучше такой правды.

К десяти никого уже не колебало, где находится интернат, а к двенадцати всем стало насрать, что нас не ждет великая судьба и что у нас нет вообще никакого предназначения. Не очень ясно было только, зачем нам вообще в подробностях узнавать о каком-то внешнем мире, учить его историю и географию, знакомиться с культурой и законами физики, если в этот мир нас не планируется выпускать никогда. Наверное, чтобы мы понимали, чего нас лишают.

Но я был бы готов отсидеть тут вечность, если бы на утренних построениях не оказывался напротив Пятсот Третьего. Такие мелочи иногда портят всю долбаную космическую гармонию.

Второй этаж.

Те же слепые стены, те же безликие двери. Баюкая свой сломанный палец, обхожу одну за другой. Ринги, классы, медиатека, палаты; белое на белом, как и везде. Ничего.

Являюсь в лазарет: врач, кажется, на обходе. Дверь в его кабинет приоткрыта.

Обычно сюда нет хода пациентам; такого шанса упускать нельзя. Поколебавшись секунду, проскальзываю внутрь – и оказываюсь в просторном помещении: пульт, кровать, мерцающие голограммы внутренних органов на подставках. Стерильно и скучно. В другом конце помещения – еще одна дверь и тоже открытая.

И там...

Иду вперед, слыша, как разгоняется сердце и замедляется время. Из проема доносятся голоса, но я продолжаю шагать, не боясь быть обнаруженным. Адреналин включает слоу-моушен, я как в кино.

– Как так вышло? – Чей-то голос скрипит недовольно, ржаво.

– Забыли... – Бас старшего вожатого.

– Забыли?

– Передержали.

Их разговор мне не понятен и не интересен. Единственное, что меня занимает, – всплывающее в дверном проеме, огромное, занимающее всю стену дальней комнаты, в которой разговаривают эти двое...

Окно.

Единственное окно на весь интернат.

Я задерживаю дыхание, подкрадываюсь так близко к дверям, как могу... И в первый раз выглядываю наружу.

По крайней мере теперь я знаю, что мы не на борту межгалактического корабля и не в гранитном склепе...

За окном – могучий город, город тысячи тысяч грандиозных башен, столпов, которые стоят на невероятно далекой земле и уходят вверх в бесконечно далекие небеса. Город для миллиардов людей.

Башни видятся мне, таракану, микробу, ногами невообразимо громадных человекоподобных созданий, атлантов, которым облака по колено и на плечах которых держится небосвод. Это самое великое зрелище из всех, которые существуют; я, конечно, никогда не смог бы вообразить что-либо столь же величественное.

Что там – я никогда не сумел бы просто представить себе, что в мире может разом быть столько места!

Я делаю самое потрясающее географическое открытие всех времен и народов.

Для меня оно важнее, чем для Галилея – предположить, что Земля круглая, а для Магеллана – доказать это. Важней, чем убедиться, что мы не одни во Вселенной.

Мое открытие: за пределами интерната действительно есть мир! Я нашел выход! Мне есть куда бежать!

– Ты что, дверь не закрыл? Дергаюсь – схватили за волосы.

– Давай его сюда!

Меня зашвыривают внутрь. Успеваю увидеть стол, на котором лежит здоровенный продолговатый пакет на застежке – старший вожатый тут же его загораживает, кучу инструментов, нашего доктора с лицом таким усталым и брезгливым, что молодость ему не идет, и раму с дверной ручкой на окне.

– Ты что здесь потерял, щенок?!

– Ищу доктора... Вот...

Старший вожатый хватается меня за палец, который я ему демонстрирую, будто это пропуск или защитный амулет, и дергает с такой силищей, что мне глаза засыпает горячими звездами. Валюсь на пол, задыхаясь от боли.

– Забудь об этом, ясно?! Забудь обо всем, что ты тут... Я не могу ответить – отчаянно стараясь вдохнуть.

– Ясно?! Ясно тебе, тварь?!

– А что... – Моя боль, кипящее олово, отливается в ярость. – А что вы мне сделаете?! Что вы мне сделаете-то?! А?! – кричу я ему в ответ. – Что?!

Черные глазницы пялятся мне внутрь.

– Не здесь, – говорит доктор.

– Ничего вы мне не сделаете! – Я юлой выкручиваюсь. – Мы все равно свалим отсюда! – Проскальзываю у старшего между ног и выбегаю через кабинет, через затрепыхавшихся пациентов, в коридор.

Мчусь к лифту, влетаю в него, жму все кнопки сразу – вдруг вспоминаю сто лет назад, в детстве, слышанную байку, что в интернате есть еще и нулевой этаж, через который сюда и попадают новички. Мол, если нажать все кнопки одновременно и подержать определенное время, тебя доставят то ли вверх, то ли вниз – на этот тайный уровень...

Дверь закрывается, лифт ползет куда-то.

Если нулевого этажа не существует, мне хана.

Когда створки разъезжаются, я не могу определить, на каком этаже очутился. Белые стены, белый потолок... В коридоре никого. Я, оскальзываясь, бегу вперед мимо запертых дверей, ища хотя бы одну открытую.

Наконец – проем. Ныряю в него, не понимая еще, куда попал, прижимаюсь к стене, сползаю по ней. Почему за мной нет погони? Старший вожатый ни за что не простит мне этой выходки... Не простит, что я нашел окно и смотрел в него, что узнал про выход.

Оглядываюсь.

Я в кинозале. Он совсем пустой, и свет тусклый – все сейчас на занятиях. Медленно проползаю через ряды, забиваюсь в дальний угол, вызываю плейлист, прошу «Глухих».

Включаю с самого начала.

Меня колотит озноб. Чтобы согреться, забираюсь на сиденье с ногами, прячу подбородок в коленях. Титры.

Я сижу на нагретых досках веранды, рядом со мной стоит пара детских сандалий; в открытой оконной створке вижу настоящего живого кота – толстого, бело-рыжего. Бриз покачивает коконы кресел, в которых спиной ко мне сидят два человека – мужчина и женщина. Синяя струйка дыма на короткий миг возникает в воздухе – и тут же исчезает, размазанная ветром.

Смотрю на велик, который я, накатавшись, бросил в траву. По хромированному бликующему звонку ползет муравей. Солнце закатывается за зеленый холм, увенчанный старой церковью, и на прощание целует мне руки.

Мне хорошо, покойно и удивительно мирно. Я на своем месте.

– Давай смоемся отсюда... Одному у меня не получится, а вдвоем... – говорю я Девятьсот Шестому.

Он не отвечает.

Воздух вокруг меня становится вязким, плотным, как вода, и словно чернила каракатицы его наполняет, мутит надвигающаяся беда.

«Глухие» пилят нервы тревожной мелодией. Тот самый план: конец аллеи...

Несчастье переполненным выменем нависает вместо неба над домом из кубиков, придавливая своими разбухшими сосцами и меня, и сидящих в креслах; нам всем скоро сосать его яд. Но я притворяюсь, будто это все не сейчас, не с ними, не со мной. Ставлю видео на паузу, ставлю на паузу время, чтобы отвратить неотвратимое.

– Ну чё, глиста? – слышу за спиной.

Пятьсот Третий! Его голос! Мне не надо оборачиваться, чтобы понять, кто говорит со мной. Поэтому, вместо того чтобы тратить время на лишние движения, я сразу рвусь вперед. И не успеваю.

Мою шею запирает его локоть. Он рвет меня назад и вверх, выкорчевывая меня из моего гнезда, придушивая и перетягивая на задний ряд. Я извиваюсь, стараюсь освободиться – но его жилистые руки окаменели, я не могу разжать замок.

– Не смей! Не смей! Я... Я... Я им... фффсе расскажшuu...

Я дрыгаю ногами – хоть за что-нибудь зацепиться бы, хоть какую-то бы опору...

– А ты что думаешь... Они не знают?... – говорит Пятьсот Третий мне в шею. Он смеется сипяще: «Ххххх...» – и продолжает удавливать меня; его дыхание щекочет мне затылок. Я пытаюсь бить назад, надеюсь попасть ему по яйцам, но он держит меня как-то хитро, и я все промахиваюсь; а даже если бы и попал – с воздухом из меня ушли все силы, удар получился бы слабый, как во сне.

– Мне поручили... Тебя... Наказать...

Он свободной рукой нашаривает пуговицу на моих штанах, рвет ее, сдергивает штаны вниз – до коленей. Мою спину трогает что-то маленькое, твердое, мерзкое. У него встало!

Внизу живота мерзко щекочет. Я сейчас... Мне нельзя, нет... Я...

– Отвали! Отвали! Слышишь?!

И тут мне колени заливают горячим. Я мертвею от ужаса и от стыда.

– Ты что, обоссался?! Ах ты, говнюк! Ты обоссался?!

Хватка слабнет. Я пользуюсь этим, выкручиваюсь, бью его пальцами в глаза, пытаюсь сбежать – но он справляется с брезгливостью, заваливает меня на пол, в проход между сиденьями, подминает под себя...

Его глаза полуприкрыты, рот ощерен, я вижу щели между зубами...

– Ну давай... Попробуй удрать... Малыш...

И тут я делаю единственное, что могу сделать в этой скользкой звериной борьбе.

Отчаянным броском рвусь вверх и впиваюсь в его ухо. Процарапываю зубами по потным волосам, по коже, стискиваю челюсть, давлю, хрустит, жжет, рвется!

– Мразота! Выпусти! Паскуда! Аааа!!!

Пятьсот Третий, забыв себя от боли и страха, толкает меня, я отваливаюсь – с мягким и горячим во рту; он зажимает ладонью кровавую дыру на своей голове. Во рту солоно и отдает еще чем-то незнакомым, он переполнен, меня вот-вот вывернет. Я отползаю, вскакиваю, на бегу вытаскиваю изо рта ухо – изжеванный сопливый хрящ, – зачем-то сжимаю его в руке и удираю, удираю из проклятого кинозала что есть ног.

– Мраааазь! Суууука!

Я стою в белом коридоре без углов и без выхода; в руке – мой дерьмовый трофей, полуспущенные портки обмочены. С потолка на меня слепо смотрит всевидящее око. Когда меня будут убивать, оно не моргнет.

Я сбегу отсюда или сдохну.

Я сбегу отсюда. Сбегу.

Глава V. Вертиго

Коммуникатор пищит еле слышно, но я подскакиваю до потолка. Вызов!

Не важно, спишь ли ты, в борделе ты или на операционном столе, – когда приходит вызов на рейд, ты должен сорваться с места за минуту. Минуты вполне достаточно, в особенности если спать одетым.

И если не пить на ночь.

Из головы, кажется, вытянули все серое вещество, а взамен накачали туда густой морской воды и запустили рыбок. Теперь моя задача – не разбить этот долбаный аквариум.

Не знаю, сколько я проспал, но моей печени этого времени явно не хватило. Я на три четверти состою из текилы. Во рту кислота. Череп и вправду словно стеклянный, и все внешние звуки царапают его, как гвозди. Рыбкам в моей голове как-то не очень, они просятся на свободу.

На дно аквариума оседает мутная взвесь недосмотренного кошмара. Не помню, что мне снилось, но настроение у меня самое паскудное.

Чтобы протрезветь, кусаю себя за руку.

Тех, кто опаздывает, ждет дисциплинарный трибунал. Но какое наказание он ни назначил бы, никто из нас даже не думает уйти из Фаланги. Почти никто. Дело не в деньгах: рядовых штурмовиков особо не балуют. Но попробуй назови другую работу, которая могла вот так же стать бы смыслом жизни. А в бесконечной жизни смысл – особый дефицит. На земле, пихаясь локтями, колуется в вечности целый триллион человек, и большинство не может похвастаться тем, что делает хоть что-нибудь полезное: все полезное, считай, уже было сделано триста лет назад. Но вот то, чем занимаемся мы, будет востребовано всегда. Нет, таким не разбрасываются. Да и не отпустят нас с этой службы.

На коммуникаторе высвечиваются координаты локации, в которой мы должны оказаться через час. Башня «Гиперборея». Никогда не слышал. И находится у черта на рогах. Успеть бы ко времени...

Вытаскиваю из шкафа мешок с комплектом формы, перекидываю туда маску и шокер – и все, я готов. Натяну на себя черное ближе к делу, незачем преждевременно нервировать обывателей.

Из мешка несет розами: в моей прачечной они почему-то ароматизируют одежду этой дрянью. Не всем причем, а только «любимым клиентам». Я, ясное дело, любимый: мне приходится стираться у них ежедневно. Сводить с формы чужую кровь, мочу, пот, блевотину. Сколько раз я просил у них обходиться без этой розовой отдушки, но систему, видимо, не перебороть.

Поэтому на службу я являюсь, всегда благоухая как педик. Хорошо, что Даниэль стирается в такой же прачечной, так что и он пахнет розочками, а насчет Даниэля никто из наших шутить не станет.

Я вливаюсь в тысячеголовое человеческое стадо, которое медленно течет к транспортному хабу. В башне «Наваха», где находится моя конура, расположен один из главных терминалов скоростных туб. Поэтому, собственно, я ее и выбрал: минута в лифте – и ты на вокзале. Еще полчаса – и вкалываешь кому-нибудь акс. Все по графику.

Я вообще практичный парень.

Люди вползают в горлышко главного входа, набиваются в распределитель, толкуются там, пока не отыщут свой гейт, – и только отстояв очередь на посадку, наконец рассаживаются по вагонам скоростных туб, чтобы разлететься кто куда. Давка внутри хаба кошмарная. Конструкция продумана великолепно: архитекторы явно вдохновлялись образом мясорубки. Мне

с моей любовью к толпе и томящимися в неволе рыбками – сейчас самое оно, чтоб окончательно слететь с винта.

Какой у меня гейт? Какая это туба? Какое направление? Что мне снилось?

– Даниэль! – говорю я коммуникатору. Молчание. Раз, два, три...

– Какого?! – сипит перекошенная рожа на экране. – Четыре ночи!

– Ты проспал?! – сиплю я в ответ. – Посмотри на комм! Вызов!

– Какой еще, к едреной матери, вызов?!

– Башня «Гиперборея»! Срочно!

– Погоди... – Он сосредоточенно сопит, отматывая полученные сообщения. – Это во сколько тебе пришло?

– Пятнадцать минут назад!

– У меня ничего нет.

– То есть?..

– Меня никуда не вызывали.

– Ты шутишь?

– Я тебе говорю: у меня ничего.

– Ладно. Я... Я узнаю у Эла. Извини, что поднял...

Прежде чем рассоединиться, мы еще несколько секунд молчим. Даниэль подозрительно смотрит на меня с запястья. Сна ни в одном глазу. Я тоже просыпаюсь.

Мы – звено. Одна семья. Единый организм. Он – кулак, Эл – мозг, я – глотка... Остальные – руки, ноги, сердце, желудок, все такое. Всегда вместе. На всех рейдах, на всех операциях. Состав звеньев не меняется, разве что если кого-то укатают в госпиталь. Разве что если...

Но Даниэль в порядке. Он в порядке! С какой стати его отстранять? Может, он в прошлом рейде наделал дел? Откуда мне знать, что у них там случилось, пока я обрабатывал молодых мамаш?

И все равно – это как ампутация. Даниэль – наш, а мы – его. Не нужно нам никаких чужаков в звене. Не хочу я, чтобы вместо кулака нам чей-нибудь хер приштопали! Мне и этого прыщавого подростка на месте Базиля достаточно.

– Эл! – требую я у коммуникатора. Звеньевой тоже отвечает не сразу.

– Что еще у тебя стряслось? – Голос недовольный, хриплый со сна.

– У меня-то все прекрасно, за исключением того, что я понятия не имею, где эта ваша долбаная «Гиперборея». Где встречаемся? И что с Даниэлем?

– Что с Даниэлем? – тупо повторяет Эл.

– Это я тебя спрашиваю! Почему его сняли с рейда? Что-то серьезное?

– Понятия не имею... Вечером только разговаривал. Погоди... С какого рейда?

– В «Гиперборею»! Ты где вообще? – Я пытаюсь разглядеть, что там у Эла на фоне.

– Ты нажрался опять?! – вдруг орет он.

– Что?

– Опять, говорю, нажрался?! Какая еще «Гиперборея»? Какой, в задницу, рейд?! Что ты лыбишься? Ложись, спи!

Он отрубается.

Я останавливаюсь – но толпа продолжает нести меня вперед, в горловину главного входа. О'кей, я покорно волокусь дальше вместе с рекой человеческого фарша – у меня нет сейчас сил сопротивляться. Пытаюсь понять, могу ли я выполнить приказ Эла и заснуть обратно в тот мир, где меня никуда не вызывали.

Проверяю коммуникатор. Сообщение о рейде на месте, координаты прежние. Рыбки в аквариуме начинают нервничать. Похоже, ситуация несколько сложнее, чем видится Элу. Белой горячкой тут не обойдешься.

Толпа еле уминается в жерло транспортного хаба. Прорвавшись внутрь, в громадное помещение под экраном-куполом (самый большой рекламный носитель в Европе!), сплошной бурлящий поток голов разбивается на сотню ручейков: каждый устремляется к своему гейту. Тубы подходят к стенам круглой башни на нескольких уровнях по касательной. Прозрачные, как шприцы, поезда останавливаются, насыщаются толпой и улетают в темноту.

Какой гейт мой? Куда мне? Кто меня вызывает?

Игрой течений меня выносит в середину этого моря; я попадаю в какую-то мертвую точку, где меня перестают сердито пихать и подталкивать, оттирать локтями и тащить за собой – и предоставляют мне валандаться самому по себе, лениво трезвея.

И только тут до меня доходит окончательно: ни Даниэля, ни Эла никуда не вызывали. И все остальные наши тоже продолжают сопеть в своих койках. Это мой личный рейд. Задание от господина Шрейера. Первая операция, которой я должен командовать сам. Шанс стать человеком. Такой, может, раз в жизни дается.

– Время! – говорю я коммуникатору. Осталось полчаса, отвечает он мне.

– Маршрут к башне «Гиперборея»!

На одном из рейдов был случай: пока Эл допрашивал каких-то мамаш, мне пришлось успокаивать рассопливившуюся девчонку лет трех. Понятия не имел, что делать с этой мар-тышкой. Хорошо, под руки подвернулась ее игра: куча запутанных ходов, похожих на вываленные кишки, в одном конце – кролик с опущенными ушами, в другом – домик с горящими окошками. «Помоги заблудившемуся зайчику найти дорогу домой». Лабиринт. Надо пальцем провести по экрану от гребаного зайца до гребаного домика. По мне – так себе развлечение, но девчонку оно просто загипнотизировало, так что она не мешала Элу вкалывать ее маме старость.

Помоги заблудившемуся зайчику найти дорогу от хаба до башни «Гиперборея», Господи.

– Гейт семьдесят один, отправление поезда через четыре минуты.

Черт знает, как часто они ходят. Опоздаю на четыре минуты – могу опоздать навсегда.

Озираюсь вокруг, отыскивая светящиеся цифры «71». И тут накатывает...

Пока я смотрел внутрь себя, все было более или менее, но стоило мне выглянуть наружу, как на меня наваливается паника. На лбу выступает жирный пот.

Гул толпы, который до сих пор приглушенно играл фоном, вступает в полную мощь – чудовищным разлаженным оркестром из ста тысяч инструментов, каждый из которых упрямо и ревниво играет свою мелодийку.

Над моей головой – купольный экран. Красивый юноша рекомендует мне вживить коммуникатор нового поколения прямо в мозг. Одна беда: экран – размером с футбольное поле, и юноша занимает его весь. Волосы у него как канаты, в зрачок проедет поезд. Мне страшно.

– Stay in touch! – Глядя с неба, он опускает на меня свой указательный палец.

Это, наверное, аллюзия на ту даже масс-маркету набившую оскомину фреску, где бог протягивает руку человеку; Микеланджело, что ли? Но мне кажется, что этот прекраснотищый архангел пытается меня припечатать, как клопа. Я втягиваю голову, зажимаюсь.

Раздавленный, я в самом центре клокочущего полукилометрового котла; вокруг меня водят хоровод сто тысяч человек. Цифры над гейтами сдвигаются с места и едут по кругу: 71 72 73 77 80 85 89 90 9299 1001239 923364567 слипаясь, превращаясь в одно невиданное сплошное число, в имя бесконечности.

Надо соскочить с этой чертовой карусели!

Надо взять себя в руки! Пропороть толпу!

– Три минуты до отправления поезда.

Этот поезд – последний. На него нельзя опоздать.

Я закрываю глаза и представляю, что стою по пояс в зеленой траве.

Вдох... Выдох...

А потом двигаю наугад кому-то в челюсть, другого отбрасываю в сторону, локтем вклиниваюсь между телами – они сначала напрягаются, но потом обмякают, а я, наоборот, крепну, каменею, пропахиваю поле, давлую, топчу, разрываю...

– С дороги, твари!

– Полиция!

– Пропустите его, он ненормальный...

– Что вы делаете?!

– Да я тебя сейчас...

– Это клаустрофобия! У него приступ, у моей жены клаустрофобия, я знаю...

– Да пошел ты! – ору я на него.

Сначала я несусь просто вперед, не отдавая себе отчета, куда движусь. На какой-то миг передо мной мелькает «71», и я силюсь сфокусироваться на этих цифрах, но кто-то хватается за шиворот, пытается задержать, и я снова сбиваюсь. Через пару секунд я ступаю по его лицу. Оно мягкое.

Я – маленький шарик. Мне нужно попасть в ячейку с цифрами «71», тогда – выигрыш, а игра идет ва-банк, на кон поставлено все. Я почти пристроился в нужный желобок, но тут кто-то дает мне под дых, и дьявольская рулетка раскручивается заново.

Люди облепляют меня, виснут на моих руках, цепляются за ноги, лезут губами мне в лицо – отнимать у меня воздух, тычутся глазами в мои глаза – хотят потереться еще и душами, потому что плотней сблизиться телами уже не получается.

– Пропустите! Пропустите! Выпустите меня!!! – кричу я. Зажмуриваюсь и бегу по чужим ботинкам – медленно, как в бассейне по шее в воде.

– Тридцать секунд до отправления.

Коммуникатор, наверное, предупреждал меня, что время на исходе, но его писк затерялся в хоре людей, которым я отдал ноги.

Впереди – брешь.

Гейт! Какой-то – не важно уже, какой.

Сквозь стену видно, как из темноты подлетает и замирает у дверей поезд – пробирка со светом.

– С дор-р-р-роги!

В стеклянную емкость вагонов набирается темная человеческая масса, ртуть. У дверей толкучка. Судьба говорит мне благожелательным механическим голосом:

– Поезд отправляется. Пожалуйста, отойдите от вагона.

– Не напирайте! Всё равно все не влезут! – визжит какая-то бабенка.

– Да пошла ты!

Я хватаю ее, возмущенную, за запястье, оттаскиваю в сторону, а сам бросаюсь вперед, сквозь уже схлопывающиеся створки.

Проталкиваюсь внутрь! Все вагону придется выдохнуть, чтобы мне нашлось местечко. Пассажиры молчат и терпят. Мир не без добрых людей.

И так, без воздуха, мы отправляемся в пустоту.

Теперь мне нужно разобраться с моими внутренними органами. Раскрутить скукоженные кишки. Разлепить склеившиеся меха легких, вернуть им ритм. Обуздать галопирующее сердце. Это непросто: вагон забит до отказа. Чтобы не запачкать всех этих самаритян, я прислоняюсь лбом к черному стеклу и смотрю наружу.

Туба прозрачной веной протягивается от пульсирующего сердца-хаба к неведомым конечностям спящего титана, и мы, как капсула с вирусом, летим по его сосудам, мчимся заражать далекие небоскребы своей формой жизни.

Этот образ успокаивает меня. Я умиряю дыхание, и соленая слюна перестает сочиться мне в рот. Тошнота отступает.

Но куда я еду?

Рулетка сыграла, но я понятия не имею, в какой ячейке оказался.

– Что за маршрут? – оборачиваюсь я к соседу – тридцатилетнему бородачу в фиолетовом пиджаке. – Какой это был гейт?

Мы все выглядим, как тридцатилетние, за исключением тех, кто молодится.

– Семьдесят второй, – отвечает тот. Вот как.

Ошибся платформой. Перепутал «Ориент-Экспресс» с поездом до Освенцима. Надо было слушать, когда судьба советовала мне отойти от вагона.

Следующая остановка может быть где угодно – за двести, за триста километров отсюда. Составы полностью автоматические, их не остановить. Пока я доеду до ближайшей станции, дождусь обратного поезда, вернусь в хаб... Если я опоздаю, они начнут без меня. Я помню слова Шрейера: Пятьсот Третий будет там. Не явился – командование переходит к нему, и уж он-то не упустит своего шанса. А я останусь отбывать пожизненное в своей одиночке с видом на прогаженную детскую мечту.

Я, похоже, застрял в моменте, где мне сообщили, что я сел не на тот поезд; вишу на стоп-кадре – с открытым ртом пялюсь на бородатого. Он сначала пытается притвориться, будто так и надо, но потом не выдерживает:

– Что-то хотели?

– Очень красивый пиджак, – рассеянно говорю ему я. – Не говоря уже о бороде.

Он приподнимает бровь.

Пока я доберусь до «Гипербореи» своим ходом, операция точно уже закончится; если их там всего двое, звену вряд ли понадобится больше десяти минут.

Есть в этой истории и кое-что похуже упущенных карьерных возможностей или нерешенного жилищного вопроса. Пятьсот Третий решит, что я просто побоялся с ним встречаться. Что я просто слил.

– А у тебя рубашка отличная. И нос милый. Такая римская горбинка... – задумчиво произносит бородач. – Супер.

– Это перелом, – автоматически откликаюсь я.

Что лучше: показаться тем, кто доверяет тебе секретную миссию, идиотом – или трусом? Непростой выбор.

Поезд несется, ныряет меж смазанных башен. Табло показывает скорость: 413 км/ч.

– Выглядит мужественно, – уважительно кивает фиолетовый. – А я себе шрамы сделал.

– Шрамы?

– На груди и на бицепсах. Пока на этом остановился, хотя были и еще идеи. Слушай, а сколько стоит так нос оформить?

– Мне бесплатно сделали. По знакомству, – шучу я.

– Везет. А я целое состояние выложил. Они мне все предлагали объемное тату, но это же вчерашний день. А шрамирование возвращается.

– У меня есть пара знакомых, которым будет приятно это слышать.

– Правда? Шрамирование – чистый секс. Так первобытно.

Задача. Дано: гребаный поезд мчится в неверном направлении со скоростью 413 километров в час. Вопрос: на какое расстояние я забился глубже в задницу, пока бородач говорил «Шрамирование – чистый секс»? Решение: нужно разделить четыреста тринадцать на шестьдесят (узнаем, сколько поезд проезжает за минуту), а потом еще на двадцать (потому что бородачому нужно примерно три секунды, чтобы изречь эту мысль). Ответ: примерно на триста метров. И пока я говорил про себя «Примерно на триста метров», я оказался еще примерно на триста метров глубже.

И я ничего не могу поделать. Еще триста.

– Неверный маршрут, – сообщает мне коммуникатор. Доброе утро, падла. На экранчике все еще висит вызов, издевательски мне подмигивая.

Гнить мне в моем кубике.

Это с прежних времен такое выражение осталось – гнить. Теперь-то мы все накачаны консервантами и не сгнием никогда. Беда: если ты гниешь, по крайней мере есть надежда, что однажды все кончится.

– У тебя глаза просто супер, – говорит фиолетовый. – Может, поедem ко мне? Я осознаю, что все время нашего с ним разговора мы прикасаемся друг к другу всем, кроме рук; мы уже близки так, как близки кузнечики в пачке. И вот фиолетовый хочет продолжить со мной эту насекомую любовь.

– Прости... – У меня садится голос. – Я как-то по девочкам.

– Ну ты что! Ну не разочаровывай! – морщится он. – Девочки – это вчерашний день. У меня целая куча друзей раньше с телочками чпокались, а теперь соскочили, все равно без смысла. Недовольных нет...

Его борода щекочет мне ухо.

– Ты же скучаешь... Я же вижу. Иначе зачем бы ты стал со мной заговаривать, а? Вспоминаю вдруг свой сон.

Пятьсот Третьего. Кинозал.

Угриным движением разворачиваюсь, оказываюсь с ним лицом к лицу, хватаю бороду в кулак, рву вниз, пальцем вжимаю ему кадык.

– Послушай-ка, ублюдок! – шиплю я. – Скучаешь, похоже, ты. Своим больным дружкам можешь простату до посинения массировать. А я – нормальный. И еще: у меня в кармане шокер, я тебе сейчас его засуну туда и проверну пару раз, чтобы ты не скучал.

– Эй... Ты что, приятель?!

– Вас, фиолетовых, и так слишком много развелось, если один в давке перенервничает, никто и не заметит.

– Я просто... Думал... Ты сам... Начал... Первый...

– Я начал? Я начал, ублюдок?!

Его лицо начинает походить цветом на его пиджак.

– Что вы делаете?! – голосит какая-то девчонка слева.

– Самооборона, – отвечаю я, отпуская его кадык.

– Шшшиивотное... – шипит он, растирая шею.

– И всех вас так надо, – шепчу ему на ухо я. – Передавить.

– Башня «Октаэдр», – доносится из динамика. – Сады Эшера. Приготовьтесь к выходу из вагонов.

Поезд сбавляет скорость, пассажиры складываются гармошкой. Перед тем как выйти, я лбом бью фиолетового в переносицу. Будет тебе, упырю, горбинка. Все, теперь я готов.

С платформы посылаю бородатому воздушный поцелуй.

Стекляшка с пучеглазым фиолетовым педиком уносится в черноту. Пусть обращается в полицию, если хочет, его там не только на шокер натянут. МВД и еще пара важных министерств – в кармане у Партии Бессмертия. Партия спасла парламентскую коалицию от развала и теперь может загадывать любое желание.

Первое желание было такое: чтобы Бессмертные сделались невидимыми. Абракадабра! – исполнено. Даже в демократическом государстве возможно маленькое волшебство.

Мне плевать, на сколько я опоздаю в «Гиперборею». Плевать, кого я там встречу и кого мне придется придушить. Я вдыхаю воздух полной грудью. Адреналин горячим маслом смочил сведенное судорогой нутро, и меня отпустило. Почти так же полегчало, как если бы меня вырвало.

Когда судьба улыбается тебе, надо улыбаться ей в ответ.

И я улыбаюсь.

– Маршрут до башни «Гиперборея», – прошу я у коммуникатора.

– Вернитесь в хаб, затем перейдите к гейту номер семьдесят один. Следующий поезд в хаб прибудет через девять минут.

Потерянное время. Я стою на месте, но «Гиперборея» продолжает уноситься от меня со скоростью в 413 км/ч. Эйнштейн чешет репу.

Разглядываю мыски своих штурмовых ботс. Стальные мыски, обшитые эрзац-кожей. Кожа ссажена, как колени мальчишки. Толстые подошвы давят податливую траву. Убираю ботинок – и трава поднимается, расправляется. Через мгновение – никакого следа.

Оглядываюсь: забавное место... Сады Эшера? Слышал про них много раз, но никогда тут прежде не бывал.

Под ногами действительно трава, мягкая, сочная, почти как живая – но неистребимая, совершенно нечувствительная к подошвам, не нуждающаяся ни в воде, ни в солнце и к тому же не пачкающая одежду. Она всем лучше настоящей травы, кроме разве что того, что она ненастоящая.

Но кому это важно?

На траве валяются сотни парочек: болтают, нежатся, читают и смотрят вместе видео, кто-то пускает фрисби. Всем нравится эта трава. А над головами у нас парят апельсиновые деревья.

Корни их забраны в белые шары-горшки, шероховатые, будто бы вылепленные вручную, и каждое дерево подвешено за свой горшок на нескольких тросиках. Этих деревьев тут тысячи, и они-то как раз взаврадашние. Одни цветут, а другие, по нашей прихоти, уже плодоносят. Отлетевшие белые лепестки кружат и опускаются на манекен травы, сладкие апельсины падают в руки девушкам. Деревья летят над головами восторженной публики, как цирковые акробаты, им хорошо без земли: через подвесы к ним подведены трубки с водой и удобрениями, и это искусственное вскармливание куда сытней естественного.

А вместо поддельного неба – одно громадное зеркало. Оно покрывает столько же, сколько на полу покрывает мягкая трава: тысячи и тысячи квадратных метров, целый уровень большого восьмигранного небоскреба.

И в зеркале – перевернутый мир. Аккуратные кроны деревьев, которые висят в пустоте вверх тормашками, падающие вверх апельсины, расхаживающие по потолку смешные мухиллюди, и опять трава – мягкая, зеленая, неотличимая от живой ничем, кроме того, что она неживая. Стены зеркальные тоже – поэтому создается иллюзия того, что сады Эшера покрывают весь мир.

Почему-то в этом странном месте царит непередаваемое спокойствие и благодушие. Ни единого лица, испорченного тревогой, печалью или злобой. Полифония смеха. Благоухающие апельсины в нежной траве.

Поднимаю глаза – вижу себя, маленького, приклеенного ногами к потолку, болтающегося вниз головой, задравшего голову к небесам, но вместо этого уставившегося вниз. В меня летит ярко-желтая фрисби.

Перехватываю.

Подбегает девчонка – некрасивая вроде бы, но при этом удивительно милая. Черные волосы до плеч выются. Глаза карие, чуть опущенные книзу, веселые и печальные одновременно.

– Прости! Промахнулась.

– Та же история. – Отдаю ей тарелку.

– А у тебя что случилось? – Она берется за фрисби, но не отнимает ее у меня; несколько секунд мы держимся за тарелку оба.

– Перепутал тубу. Теперь вот девять минут ждать следующую.

– Может, сыграешь с нами?

- Я опаздываю.
- Но до поезда еще ведь девять минут!
- Точно. Ладно.

И вот я, снарядившись на убийство, иду за ней вслед играть во фрисби. Ее друзья – все симпатичные ребята: открытые лица, улыбки честные, в движениях – покой.

- Я Надя, – говорит синеглазая.
- Пьетро, – представляется невысокий паренек с выдающимся носом.
- Джулия, – протягивает руку хрупкая блондинка; камуфляжные штаны с карманами болтаются на худых бедрах, в пупке пирсинг. Жмет крепко.
- Патрик, – говорю я. Нормальное имя. Человеческое.
- Давайте двое на двое! – говорит Надя. – Патрик, будешь со мной?

Над нашими головами – шероховатые шары-горшки, сплетение почти невидимых троек, маслянисто-зеленые листовые шапки, воздух, маслянисто-зеленые листовые шапки, ниточки троек, шероховатые шары-горшки, трава, счастливые люди играют во фрисби. Сады Эшера – заповедник счастливых людей.

- Тарелка летит еле-еле, да и ребята эти – явно не спортсмены.
- Ничего себе у тебя скорость! – В Надином голосе восхищение. – Ты чем занимаешься?
- Безработный, – отвечаю я. – Пока что.
- А я дизайнер. Пьетро – художник, мы вместе работаем.
- А Джулия?
- Тебе Джулия понравилась?
- Просто спрашиваю.
- Понравилась? Скажи, ладно тебе!
- Мне ты понравилась.
- Мы здесь каждую неделю играем. Тут классно.
- Тут классно, – соглашаюсь я.

Надя смотрит на меня – сначала на мои губы, потом поднимается выше. Смазанная полуулыбка.

- Ты мне тоже... Понравился. Может, ну его, твой поезд? Поехали ко мне?
- Я... Нет. Мне нельзя, – говорю я. – Я опаздываю. Правда.
- Приходи тогда на следующей неделе. Мы обычно по ночам...

Она ничего про меня не знает, но ей все равно. Она не претендует на меня и не предлагает мне себя. Был бы я обычным человеком, мы просто сошлись бы на несколько минут, а потом рассоединились – и увиделись бы через неделю или никогда. Будь я обычным человеком, не принимавшим обетов, я ничего не требовал бы от женщин, и женщины ничего не требовали бы от меня. Когда-то люди говорили: подарить любовь, продать тело; но ведь от совокупления ничего не убывает. Наши тела вечны, трение не изнашивает их, и нам не надо рассчитывать, на кого потратить ограниченный запас их молодости и красоты.

Это естественный порядок вещей: обычные люди созданы для того, чтобы наслаждаться. Миром, пищей, друг другом. Зачем еще? Чтобы быть счастливыми. А такие, как я, созданы, чтобы оберегать их счастье.

Я назвал Сады Эшера заповедником, но это неправда. Кроме подвешенных апельсиновых деревьев, в этом месте нет ничего примечательного. Люди здесь такие же безмятежные, веселые, искренние, как и везде. Ровно такие, каким и положено быть гражданам утопического государства.

Потому что Европа и есть Утопия. Куда более прекрасная и величественная, чем смели воображать Мор и Кампанелла. Просто у любой Утопии есть задворки. У Томаса Мора процветание идеального государства было обеспечено работой каторжников – как и у товарища Сталина.

Это у меня от моей работы глаз замылился – все время короткими перебежками, все время по задворкам этой утопии, по ее сервисным коридорам, и на фасады давно не обращаю внимания. А они есть, эти фасады, и в желтых уютных окошках улыбающиеся люди обнимаются и чаевничают.

Это моя проблема. Моя, а не их.

– Патрик! Ну бросай же!

У меня в руках – желтая тарелка. Не знаю, сколько длится мой стоп-кадр. Посылаю фрисби блондинке – слишком высоко. Джулия подпрыгивает – с нее чуть не сваливаются штаны, – ловит и хохочет.

– Что это?! – Надя зажимает уши.

В уши лезет какой-то жуткий механический вой. Тревога?! Помещение затопливает слепящий белый свет – словно прорвало плотину, которая удерживала сияние сверхновой.

– Внимание! Всем отдыхающим срочно собраться у западного выхода! В здании обнаружена бомба!

И тут же из зазеркалья выскакивают люди в темно-синей полицейской форме – шлемы, жилеты, пистолеты в руках. Выпускают из ящиков какие-то приземистые круглые аппараты вроде домашних уборщиков, те мечутся по траве, фырчат, ищут что-то...

– Всем двигаться к западному выходу! Быстро!

Счастье и покой скомканы и порваны. Вой сирены вздергивает людей за шиворот, пихает их в спины, как кусочки пластилина, сминает их в один липкий шар, катит на запад.

Только мне туда не надо. Мне туда нельзя.

Я должен оставаться у своего выхода – восточного. Сюда сейчас подойдет мой поезд!

Надю и ее приятелей закатывает в разноцветный пластилин, прежде чем я успеваю сказать им «Пока!».

– Что случилось?! – требую я у полицейского, который подгоняет толпу.

– К западным воротам! – орет он на меня.

Лицо у него забрызгано потом. Видно: это не учения, ему страшно.

Выдергиваю из ранца маску Аполлона, сую ему в лицо. Удостоверений нам не положено, но маска заменит любую ксиву. Никто, кроме Бессмертного, такую носить не посмеет. И полицейский об этом знает.

– Предупреждение о теракте... Угрозы. Партия Жизни... Эти ублюдки. Сказали, разнесут Сады Эшера к чертям... Пожалуйста, к западному выходу... Эвакуация.

– Я на задании. Мне нужно тут дождаться поезда...

– Поезда остановлены, пока мы не найдем бомбу. Пожалуйста... В любую секунду тут может... Вы понимаете?!

Партия Жизни. Перешли от слов к делу. Следовало ожидать.

Эти овчарки в погонах уже почти согнали всех в дальний угол. А если террорист в толпе? Если бомба у него? Что за бред?!

Хочу сказать об этом полицейскому, но затыкаюсь на полуслове. Он меня не слушает, и он все равно ничего не решает. И потом, я тут не мир спасаю, у меня свои дела. Поскромнее.

– Мне нужен транспорт! – Я хватаю его за ворот. – Любой!

Вдруг замечаю открытый аэрошлюз, а в проеме – присосавшийся к внешней стене башни полицейский турболет. Оттуда-то они и валят. Вот он, шанс.

– Маршем! – команду я себе.

Отпускаю его и двигаю к аэрошлюзу. По пути натягиваю на себя маску. Меня больше нет; Аполлон за меня. Голова становится легкой, мышцы поют, словно стероидами обколоты. Некоторые считают, что мы носим маски ради анонимности. Чушь. Главное из всего, что они дают, – свобода.

Полиции при виде Аполлона расступаются и как-то вообще скукоживаются. У нас с ними непростые отношения, но сейчас не до церемоний.

– Забудь о смерти!

– Что надо? – Навстречу, поднимая забрало шлема, шагает могучий бычара. Старший, наверное.

– Мне необходимо срочно попасть в башню «Гиперборея».

– Отказать, – отбрехивается он сквозь амбразуру своего шлема. – У нас спецоперация.

– А у меня – поручение министра. Из-за вашего бардака все и так на грани срыва.

– Исключено.

Тогда я делаю ход конем – хватаю его за запястье и тычу ему в руку сканером.

– Эй!

Звонит колокольчик.

– Константин Райферт Двенадцать Тэ, – определяет сканер, прежде чем Константин Райферт Двенадцать Тэ успевает выйти из ступора. – Беременностей не зарегистрировано.

Бычара отдергивает руку и пятится от меня, бледнея так резко, словно я ему шею взрезал и всю его дурную кровь спустил.

– Послушай, Райферт, – говорю ему я. – Подбрось меня до «Гипербореи», и я забуду твое имя. Продолжай кобениться – и на работу завтра можешь не выходить.

– Много о себе думаешь! – рычит он. – Ваши не вечно министрами будут.

– Вечно, – заверяю его я. – Мы же бессмертные.

Он еще молчит и демонстративно скрежещет зубами, но я-то понимаю – это для маскировки, чтобы не было слышно тихого хруста, с которым я переломил ему хребтину.

– Ладно... Туда и обратно.

Рядом к стене пришвартовывается еще один такой же аппарат – рама с четырьмя винтовыми турбинами и капсула с пассажирами. Но вместо полиции в проем шлюза прыгает какая-то телочка с надписью «Пресса», туго натянутой на задранный бюст.

Прячусь внутрь капсулы. Не люблю этих шлюх.

– Да у вас тут шоу, а не спецоперация!

– Общество имеет право знать правду, – чьими-то чужими словами отвечает Райферт.

Я улыбаюсь, но Аполлон меня не выдает.

Райферт тоже втискивается внутрь, дверь пшикает, и турболет отлепляется от башни. Полицией стаскивает шлем со своей круглой потной башки, ставит его на пол. Стрижка «маринз», свинячьи глазки и второй подбородок. Налицо ожирение головного мозга и неконтролируемое деление клеток мышечной ткани.

Он ловит мой взгляд и прочитывает его. Полицейские рефлексy.

– Не смотри на меня так, – говорю я Райферту. – Может, я тебе еще жизнь спас. Сейчас как рванет...

Может, всего через минуту апельсины в траве, желтое фрисби и девушка Надя станут такой же небылью, как тосканские холмы. Из новостей узнаем.

«Октаэдр» отъезжает, словно огромная шахматная ладья, другие фигуры-небоскребы лезут на передний план, задвигая на задний план восьмиугольную башню с перевернутыми садами. Турболет, чуть покачиваясь, ныряет в разрывы между столпами. Райферт сам ведет машину.

Воздух пуст. Кроме полиции и неотложки, никому летать не дозволено. Для всех прочих – общественный транспорт: тубы и лифты, – и перемещения строго по осям координат. И только для этих засранцев мир существует в настоящем 3D.

– Вы себе тут «Полет валькирий» не ставите треком? – завистливо интересуюсь я.

– Да пошел ты, умник... – огрызается этот дуболом.

– Я бы ставил.

– А я бы тебе... – Он дальше бурчит что-то невнятное, предположительно в грубую казарменную рифму; я великодушно не уточняю, что он там плетет.

Коммуникатор все еще моргает вызовом. Я опаздываю, но без меня там, похоже, решили не начинать. Я чувствую, что снова нашел потерянный пульт от своей жизни. Все снова под контролем. Все под контролем.

– Гады, – бубнит себе под нос Райферт.

– Это мы сейчас о чем?

– Партия Жизни. Если это правда... Они переходят все границы. И ради чего?!

– Ты что, никогда не видел их агиток? Жизнь неприкосновенна, право на продолжение рода священно, человек без детей – не человек, бла-бла-бла, отмените Закон о Выборе.

– А перенаселение?

– Этих ребят не заботит перенаселение. Им плевать на экономику, на экологию, на энергетику. Мальчикам просто резинки жмут, а девочек от гормонов разносит, вот и вся история. Ребята не хотят думать о будущем. Хорошо, что есть мы. Мы подумаем за них.

– Но теракт?! Жизнь-то неприкосновенна!

– Не удивлюсь, – говорю я. – Они борзуют с каждым днем. Уверен, у них там есть теоретики, которые на раз-два докажут, что ради того, чтобы спасти миллионы человек, необходимо пожертвовать тысчонкой.

– Вот скоты! – Он сплевывает.

– Ничего. Рано или поздно мы до них доберемся. Этих-то всегда есть за что брать.

Райферт молчит, сосредоточившись на пилотаже. Потом вдруг мямлит:

– Слушай... Всегда хотел спросить... Как вы их находите? Нарушителей? Я пожимаю плечами:

– Ты просто води себя хорошо, и не придется об этом думать.

– Просто интересно, – деланно зевает он.

– Конечно.

Говорю и слышу, как у меня на шее волосы приподнимаются. Охотничий инстинкт. Чую клиента. Но времени нет, да и чучело его мне ставить негде.

– Вон она показалась. – Райферт кивает на выступившую из ночного тумана двухкилометровую колонну. – Готовься выметаться.

«Гиперборея» выглядит странно; больше всего она похожа на древний панельный дом, который из-за какой-то генетической болезни растет не переставая уже несколько веков. Снаружи башня облицована чем-то похожим на плитку и вся поделена на крохотные уровни-этажи – с окнами. И этих этажей в ней, наверное, целая тысяча. Уродливое здание.

Я отстегиваю маску и кладу в ранец. Персей тоже носил голову медузы Горгоны в мешке. Горгоньей головой надо пользоваться дозированно.

– А ты с виду как нормальный человек, – разочарованно произносит эта дубина.

– Это только с виду.

Турболет замедляется; к «Гиперборею» Райферт подходит плавно и пускает машину вдоль гладкой темной стены – ищет док. Пришвартовавшись, он шарит пальцами на клавиатуре.

В полумраке салона вспыхивает что-то и тут же гаснет.

– Это еще что?!

На ветровом стекле возникает мое объемное фото.

Чувствую себя так, будто сел играть с чертом в морской бой. Самое время сказать «Ранил!».

– Какого хера ты делаешь, Райферт?!

– Знакомиться так знакомиться. Ты же не представился... – Он скалит зубы. – А сканерами мы тоже пользоваться умеем. Запрос по базе, – командует он.

- Совпадение. Субъект в розыске, – равнодушно констатирует система.
- Что еще за ерунда?! Ранил.
- Оп! – Райферт довольно усмехается. – Погоди-ка... Может, мы еще и покатаемся.

Детали!

– Инцидент в купальнях «Источник». Субъект разыскивается как свидетель и потенциальный виновник происшествия со смертельным исходом. Сообщил неверное имя. Настоящее имя не установлено.

– Оп-оп! – Он слабит еще веселей. – И что случилось в купальнях?

– Ничего интересного. Попытался откатать утопленника.

Где в этой проклятой посудине кнопка, открывающая двери?!

– Класс! – Теперь он радуется как мальчишка; улыбка такая, что глаз не видно. – Думаю, придется тебе ответить на пару вопросов.

Жую щеку. Улыбаюсь тоже.

– Давай начну с того, что ты уже задавал. Про то, как мы находим нарушителей.

У него чуть дергается его бульдожья щека. Чик! И все. Почти незаметно. Почти.

– В канализации стоят сенсоры. Гормональные. Как гонадотропинчик засечет, сразу нам сигнал посылает. Знал об этом?

Он качает головой. Смотрит на меня так, будто Гитлера увидел. Чик! Чик!

– Так что скажи своей, чтобы за малым в баночку ходила, – подмигиваю я. Чик-чик-чик. Ранил!

Еще пара ходов, и этот четырехпалубный линкор пойдет ко дну.

– Открывай дверь, Константин Райферт двенадцать-тэ. У тебя свои дела, у меня свои. Не трать себя на мелочи. Лети, спасай мир! – Я отдаю ему честь.

Он сглатывает: в бычьей шее машинным поршнем ходит могучий кадык. Потом дверь открывается. Аэрошлюз распахнут, внутри горит свет.

Я закидываю за плечи мешок и перескакиваю в док. Под ногами у меня мелькает километровая пропасть, но высоты я не боюсь.

Райферт все висит, все смотрит на меня.

– Но вообще чаще всего соседи стучат, – делюсь я на прощание. – А от соседей не уйдешь. Так что по-дружески тебе советую, Райферт: пока мы вас не нашли, делайте аборт.

Глава VI. Встреча

Перед тем как выпустить на арену с разъяренными из-за моего опоздания львами, меня еще выдерживают в тесной клетушке адски медленного лифта. Духотища. От пота мысли склеиваются.

Ничего, говорю я себе, что меня засекли в купальных. Я в овердрафте, но это ненадолго. Простые правила – для простых людей, так сказал мне господин Шрейер. Одно нарушение кодекса вполне может искупить другое. Минус на минус дает плюс. Все, что от меня требуется, – выполнить его поручение. Открутить головы паре мерзавцев. И моя кредитная история сразу резко выправится. Героям во все времена списывали мелкие злоупотребления вроде грабежей и изнасилований, а я всего-то попытался человека спасти. Мне, конечно, урок: нечего было соваться. Заниматься надо тем, что получается лучше всего. Откручивать головы. И не разбрасываться. Рокамора и его баба... У меня уже руки чешутся.

И изнутри все зудит. Будто на свидание собрался.

Я не видел Пятьсот Третьего с самого интерната, а ведь многое из того, что я делал с тех пор, я делал из памяти о нем. Бокс. Вольная борьба. Железо. И кое-какие внутренние упражнения.

Я не должен его бояться! С того момента, как мы виделись в последний раз, я подрос и озверел. И все же меня потряхивает: подумать о Пятьсот Третьем – как шокером в харю.

Даже приступ проходит быстрее. Ненависть – отличный антидот к страху. Дзынь! Приехали.

Снаружи – ресепшен какой-то занюханной фирмешки. Потолок – от силы два двадцать, пригнуться хочется. Неприятно яркие светильники, напоминающие мне о моей интернатской палате. Стойка секретарши с пафосным и незапоминающимся логотипом: гербы, вензеля, золото – и все напечатано на дешевой наклейке. Журнальный столик с пыльной композитной икебаной, и вокруг него – продавленные утлые диваны для посетителей.

Аншлаг. Ни единого свободного места. На диванчиках, плотно сбившись, сидят ожидающие. Можно было бы порадоваться за фирму – каким ажиотажем пользуются ее неизвестные услуги! – если бы секретарша не лежала под журнальным столиком с какой-то тряпкой во рту. И если бы гости не были похожи друг на друга, как близнецы-братья. Друг на друга и на Аполлона Бельведерского.

Черные балахоны, капюшоны накинута. На ногах – тяжелые бутсы. Руки – исцарапанные, некоторые – в перчатках.

Мне навстречу – девять пар глаз. Взгляды – холодные, колюще-режущие. Двое поднимаются пружинно, руки в карманах. Видимо, в лицо тут меня не знает никто... Кроме одного. Который из них?

Двое начинают заходить с боков. Прежде чем случился конфуз, произношу:

– Забудь о смерти.

Они застывают, выжидая.

Сую руку в мешок, достаю свою маску, натягиваю. Я не из их команды; а может, они все из разных команд и собраны здесь только для этой единственной операции. В маске они узнают меня. Но будут ли они мне подчиняться?

– Забудь о смерти, – сливаются в один девять голосов.

Мурашки по коже. И ощущение, что я – важная деталь, которой этому механизму – безотказному, слаженному, смазанному – не хватало. Теперь я со смачным щелчком встал на свое место, и машина заработала, ожила. Может, я зря думал, что Базиль невосполним. Я – отрубленная голова, которую лишь только поднесли к чужому телу, как она тут же приросла к пле-

чам. Мы все – части большого целого, части некоего бесконечно мудрого и бесконечно могучего сверхорганизма. И мы все – заменимы. В этом наша сила.

– Доложите, – строго приказываю я, оглядывая свое новое звено.

Если я по адресу, если это – та самая операция, то они ждут командира. Тогда они четко отпартируют, а не поднимут меня на смех.

А еще это значит, один из них – мой враг. Орган, пораженный раком. Но кто? Без биопсии не определить.

В курсе ли вообще Пятьсот Третий, чьим заместителем его назначили на этот рейд? Ждал ли он нашего свидания так же, как ждал его я? Поставили ли ему то же условие: или я, или он? Или для него мое появление тут стало сюрпризом?

А может, он не опознал меня за те полминуты, пока я возился с маской?

Я буду помнить его всю жизнь, но и у него забыть меня вряд ли получится. Я изменился с тех пор, но есть у каждого из нас люди, которых узнаешь и через сто лет, и в любом гриме.

– Прибыли полчаса часа назад, – рокошет какой-то здоровяк. – Рокамора на этом ярусе, в полукилометре отсюда. Без вас не начинали. У нас там наблюдение. Камеры. Эти ничего не подозревают.

Не Пятьсот Третий. Не его рост, не его интонации. Не его аура.

Киваю. По крайней мере я знаю теперь наверняка, куда и зачем приехал.

– По двое.

– По двое! – ревет здоровяк.

У нас в звене я повторяю команды Эла – потому что я его правая рука. Но Пятьсот Третий, хоть и обещан мне в замы на этот рейд, молчит – вместо него выступает этот громила. Надо бы познакомиться с ними, но времени нет.

Остальные мигом строятся короткой колонной. Я ждал, что Пятьсот Третий выдаст себя своей леностью, нарочитой вальяжностью – каково ему подчиняться мне? – но никто из звена не выделяется ничем.

– Бегом.

– Бегом!

Распахивается дверь, и мы врываемся на склад, полный затянутых чехлами неведомых товаров. Коммуникатор подстегивает, задавая направление. Еще дверь – удар! – и мы уже в какой-то конторе. С визгом отскакивают девушки в деловых костюмах. Привстает со своего места охранник в форме – шагающий справа от меня громила накладывает ему на лицо свою пятерню в перчатке и швыряет обратно в кресло. Упираемся в директорский кабинет. Вперед, уверенно говорит коммуникатор. Вламываемся, без преамбул выкидываем хозяина – жирного парня с перхотью на плечах – в коридор, за его спиной – портьера. За ней комната отдыха и досуга: раскладной диван, календарь с трехмерными сиськами, стенной шкаф.

– Шкаф.

Его разбирают на части за полторы секунды; позади вешалок с посыпанными перхотью костюмами – дверка. Снова коридорчик, необитаемый и темный, продуваемый вялыми протухшими сквозняками, потолок два метра, Даниэль тут застрял бы. Где-то вдалеке мерцает светодиод – единственный на десятки метров.

Бежим по коридору – синхронно бухая бутсами, адовой многоножкой, – пока коммуникатор не приказывает остановиться у кучи хлама. Двери, двери, двери – и все разные: маленькие, большие, металлические, пластиковые, оклеенные чьими-то лицами и политическими стикерами.

Остов велотренажера, сломанные стулья, женский манекен в шляпке. Коммуникатор считает, что мы на месте.

– Тут.

Дверь, обтянутая драным коззамом. Кнопка звонка, пустая вешалка, зеркало в резной раме. Один из наших заклеивает глазок на двери черной лентой. Изнутри доносится приглушенный бубнеж. Заранее испытываю к хозяевам этого куба классовую ненависть.

– Штурм, – шепчу я.

Шокеры на изготовку. Включить фонари. Оглядываюсь на своих. Ищу под маской зеленые глаза. Не вижу: в прорезях одни тени, одна пустота. И под моей собственной маской – пустота тоже.

Высаживаем дверь, вихрем – внутрь!

– Забудь о смерти!

– Забудь о смерти!!!

Это не куб, а настоящая квартира. Мы в холле, из которого ведут в разные комнаты еще несколько дверей. На половину помещения – проекция новостного выпуска: глазами корреспондента – пустыня, мертвая растрескавшаяся земля, свора грязных оборванцев на допотопных колесных колымагах. Какие-то красные флаги...

– Эти люди доведены до отчаяния! – говорит репортер.

Его никто не слушает: в холле пусто. Звено рассыпается по остальным комнатам. Я остаюсь у входа.

– Нашел!

– Есть!

– Давайте их сюда! – кричу им.

Из сортира выволакивают мужика со спущенными штанами; из спальни – заспанную девушку в пижаме; действительно, заметен живот – в глаза не бросается, но профессионалу видно. Ставят обоих на колени посреди прихожей.

Рокамора не похож на террориста и не похож на свои фото. Говорят, он ловко пользуется силиконовыми накладками и гримом: за четверть часа может соорудить себе новое лицо. Поэтому все системы распознавания на нем срезаются. Шатен, совсем молодой парень, волнистые волосы зачесаны назад, переносица тонкая, крупный, но не тяжелый подбородок. Черт знает, его ли сейчас на нем нос и его ли губы; однако в его чертах – привлекательных, волевых – мне видится что-то неуловимо знакомое. Он словно похож на кого-то, кого я знаю, – но не могу понять, на кого, да и сходство это ускользающее.

У его девчонки – светло-русые волосы, обрезанные по плечи, косая челка, матовая кожа. Совсем худая, и пижама в обтяжку. Глаза светло-светло-карие, тонкие брови вразлет, тушь течет. Первое, что приходит на ум: хрупкость. К такой, наверное, притронуться страшно – как бы не сломать. И она тоже кажется мне – странно, остро, неожиданно – знакомой. Наверное, просто дежа-вю. Плевать.

Так.

Теперь их как-то надо будет убить.

– Что происходит?! – возмущается парень, силясь подтянуть брюки. – Это частная собственность! Какое право...

Натурально так возмущается. Актер!

Девчонка просто молчит, совершенно остолбенев, держится руками за свой живот.

– Я вызову полицию! Я вызываю...

Один из наших бьет его наотмашь тыльной стороной ладони по щеке, и Рока-мора затыкается, держась за челюсть.

– Имя! – ору я.

– Вольф... Вольфганг Цвигель.

Рокамора? Или коммуникатор завел нас не к тем? Хватаю его за руку, прокусываю сканером кожу. Колокольчик.

– Нет соответствий в базе данных, – говорит сканер обыденным голосом, будто сейчас не происходит нечто из ряда вон.

– Ты кто такой? – спрашиваю я. – Мать твою, тебя в базе ДНК нет! Ты как это сделал?!

– Вольфганг Цвибель, – повторяет парень с достоинством. – Понятия не имею, что там с вашей машинкой, но ко мне это не имеет никакого отношения.

– Ладно! Проверим твою мадемуазель! – Я тыркаю сканером девчонку: динь-дилинь!

– Аннели Валлин Двадцать Один Пэ, – отзывается прибор. – Беременность не зарегистрирована.

– Гормональный фон? – Я ловлю ее глаза, не даю ей спрятать взгляд.

– Хорионический гонадотропин повышен. Прогестерон повышен. Эстроген повышен. Результат положительный. Беременность установлена, – выносит приговор сканер.

Тут нужно бы еще ультразвуком, но его у меня нет. И ни у кого нет. Девчонка дергается, но ее вдавливают в пол.

По накатанной. Мы действуем, как команда, как одно целое, как идеальный механизм; может, Пятсот Третьего нет тут? Может, меня просто раззадорили им, зная, что ему я не захочу уступить ничего – даже палаческий колпак?

– Почему ты ничего мне не сказала?! – хрипло ахает Цвибель-Рокамора.

– Я... Я не знала... Я думала... – лепечет она.

– Так! Заканчиваем спектакль! – прикрикиваю я на них. – С таким пузом ты уже месяца три как думаешь! Вы нарушили Закон о Выборе, и уж кому, как не вам, об этом знать. В соответствии с Законом вам предоставляется выбор, который вы можете сделать только сейчас. Если вы решаете сохранить ребенка, один из вас должен отказаться от бессмертия. Инъекция будет сделана немедленно.

– Вы так говорите, будто мы уже на сто процентов уверены в том, кто отец ребенка, – спокойно замечает Цвибель. – Между тем это вовсе не так. Это еще требует прояснения.

Девчонка вспыхивает, смотрит на него обиженно, даже зло.

– У нас нет времени на анализы ДНК плода... Зато мы точно знаем, кто его мать, – говорю я. – И если вы отказываетесь от отцовства... Инъектор! – требую я у здоровяка.

Точно по процедуре. Все точно по процедуре. По рельсам. Одна проблема: все это никак не приближает меня к тому, чтобы Рокамора и его подруга были убиты при сопротивлении. Что я делаю? И чего я не делаю?!

– У нас нет инъектора, – шепчет мне на ухо громила.

– Что значит нет инъектора?! – Мои кишки словно кто-то ножом отскабливает. – Какого черта у вас нет инъектора?! – Я толкаю его в дальний угол.

– Закон, между прочим, предусматривает и второй вариант. – Цвибеля ничто не способно вывести из себя; а ведь он – между прочим – стоит перед нами на коленях и без порток и наглым адвокатским голосом цитирует по памяти: – Закон о Выборе, пункт десять-А. «Если до наступления двадцатой недели зарегистрированной беременности оба родителя плода примут решение об аборте и прервут незарегистрированную беременность в Центре планирования семьи в Брюсселе в присутствии представителей Закона, Минздрава и Фаланги, они освобождаются от инъекции акселератора». И даже если инъекция уже сделана, после аборта в Центре могут назначить терапию, блокирующую акселератор! Это пункт десять-Б, уж вы-то должны бы знать!

Девчонка молчит, но вцепляется в живот обеими руками, кусает губы. Невольно соскальзываю на нее взглядом. Почему-то думаю, что она красива, хоть беременность обычно и уродует женщин.

– Просто съездить в Брюссель, сделать аборт и заплатить штраф. И все, инцидент исчерпан.

Вот уж то, чего мне точно сейчас нельзя: исчерпывать инцидент. От замаячившего идиотского хеппи-энда мне нужно каким-то образом провести заблудившегося зайчика к кровавой бане.

– Нет инъектора – значит, нет инъектора. Вся эта канитель всегда у звеньевского, – оправдывается громила. – Уколы, таблетки, вся хрень.

Правда. У нас в звене аптечку держит Эл. Но мне-то никто ее не выдавал. Это, наверное, потому, что у нас не вполне обычный рейд, так?

– Ты ведь готова сделать аборт, Аннели? – спрашивает у нее Цвибель.

Она не отвечает. Потом трудно, рывком поднимает подбородок – и так же трудно, саму себя пересиливая – опускает. Кивок.

– Ну вот и все. Там у вас, кажется, для ранних стадий какие-то инъекции?

– А ты, я смотрю, в курсе, а, Цвибель?

Это террорист, говорю себе я. Это не милейший Цвибель, это Хесус Рокамора, всегда в десятке самых разыскиваемых людей Европы, один из столпов Партии Жизни. Это он и его дружки собираются разнести к чертям «Октаэдр» вместе с зеркальными садами, с ребятами – как их там зовут – и вообще... Спровоцируй меня, скотина! Ударь меня! Попытайся сбежать! Не видишь – мне трудно будет душить тебя без повода!

Пнуть его в лицо? Где-то я читал, что на открытые раны, на свежую кровь реагируют не только акулы, но и домашние свиньи: звереют и нападают на хозяев, особенно если голодны. Я голоден.

– Я юрист, – вежливо отзывается эта гнида. – Конечно, я ориентируюсь в законодательстве.

А если это не они? Если сбой? Почему его нет в базе?!

Молчу. Зайчик сбился с маршрута и тычется в стенку. Девчонка всхлипывает, но не плачет. Бессмертные смотрят на меня. Секунды пролетают. Я молчу. Кто-то из ребят начинает шептаться, переминается с ноги на ногу. Зайчик затихает и садится на землю: дошло, что забрел в тупик, но как из него выбираться, он понятия не имеет.

– Пора кончать их, – вдруг говорит одна из масок. – Время.

– Кто это сказал? Молчание.

– Кто это сказал?!

Задание секретное. Вряд ли Шрейер приглашал к себе по очереди всех десятерых членов звена и всех пытался очаровывать. Кроме меня, о том, чем тут все должно кончиться, знает только один человек. Тот, которого прикрепили ко мне тенью. Задача которого – подстраховывать меня.

– Я сам знаю, ясно?!

– Что это... Что это все значит? – Цвибель принимается зачем-то застегивать брюки. – «Кончать»? Вы понимаете, что вы говорите?!

– Не надо так волноваться. – Я похлопываю его по плечу. – Это просто шутка. Он вроде справляется со своими портками.

– Вставай! – Я хватаю его под мышки. – Прогуляемся.

– Куда вы его?! – кричит девчонка, пытаясь подняться с колен.

Одна из масок пинает ее ботинком в живот, и она давится своими вопросиками. Это лишнее, говорю я себе. Девчонку в живот – это лишнее.

– Я сам все сделаю! – кричу я маскам. – Не встревайте!

Вывожу его в тот темный коридор, откуда мы попали в квартиру. Хлопаю входной дверью, которая чудом держится еще на своих петлях после нашего вторжения.

– Вы не можете! Не имеете права!

– К стене! К стене лицом!

– Это зачем? Это не по Кодексу! – увещевает меня Цвибель, но послушно утыкается в стену.

Так. Вроде, если в глаза ему не глядеть, как-то попроще.

– Заткнись! Думаешь, я не знаю, кто ты такой?! Кодекс не для таких, как ты! Он молчит.

Что теперь? Задушить его? Завалить на пол, замком сцепить вокруг его шеи пальцы и давить, давить, пока не сломаю ему кадык, навалиться на него всей тяжестью тела, чтобы он не выкатился из-под меня, пока будет ерзать, задыхаясь, пока будет в конвульсии сучить ногами?

Смотрю на свои руки.

Размахиваюсь и бью его в ухо. Цвибель заваливается на пол, потом не без труда становится на четвереньки, наконец садится спиной к стене. Попыток сопротивляться он не делает никаких. Сука.

– И что ты про меня знаешь? – наконец говорит он каким-то другим голосом – чужим, усталым.

– Все, Рокамора. Мы нашли тебя.

Он смотрит на меня снизу вверх – изучающе, задумчиво.

– Я хочу сдать тебя полиции, – спокойно произносит он наконец. Молчу – секунду, пять, десять.

– Я требую, чтобы вы вызвали сюда полицию! Качаю головой:

– Прости.

– Я нахожусь в розыске. За мою поимку назначено вознаграждение. Любой, кто сможет меня задержать, обязан...

– Ты что, сам не понимаешь?.. – перебиваю его я.

Он умолкает на полуслове, всматривается в мое лицо, сереет.

– Так... Так это все всерьез? Они решили меня убить, а? Ничего не отвечаю.

– Ну и как... Как ты собираешься это делать? Я и сам не знаю.

– Бред какой... – Он качает головой, почему-то улыбается. И я улыбаюсь тоже.

Новостной диктор за дверью вдруг повышает голос, начинает вещать четко, разборчиво:

– Надежду на перемены у них отняли много веков назад! Но теперь люди поняли, что не могут больше мириться с этим!! На борьбу они поднимаются со знаменем, которое в последний раз развевалось тут четыреста лет назад!!!

Громкость будто с каждым словом нарастает. Какого черта?! Оглохли они там, что ли? Что интересного в этом гребаном репортаже из гребаного третьего мира?

– МЫ ВЕРНЕМСЯ К ПОКАЗУ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ВИДЕО ИЗ РОССИИ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО МИНУТ! СРОЧНОЕ СООБЩЕНИЕ! – орет ведущий прямо мне в ухо; у тех, кто внутри квартиры, от такого должны барабанные перепонки полопаться. – В САДАХ ЭШЕРА ИЩУТ БОМБУ!

Мне кажется, что в промежутках между его словами до меня доносится еще что-то... Почти неслышный шум какой-то возни... Мяуканье...

– УГРОЗА УНИЧТОЖИТЬ ЗНАМЕНИТЫЕ САДЫ ВМЕСТЕ СО ВСЕМИ ПОСЕТИТЕЛЯМИ ПОСТУПИЛА ЧАС НАЗАД! – Визг. – К ПОСЛАНИЮ БЫЛ ПРИКРЕПЛЕН ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ МАНИФЕСТ ЖИЗНИ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ВОЗЛОЖИТЬ ВИНУ НА...

Визг. Я ясно слышал визг.

– На козлов отпущения, – усмехается Рокамора.

– НА ТЕРРОРИСТИЧЕСКУЮ ГРУППИРОВКУ «ПАРТИЯ ЖИЗНИ»! – заглушает его диктор.

– Заткнись!

– СЕЙЧАС В САДАХ НАХОДЯТСЯ НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК! НАЧАТА ЭВАКУАЦИЯ, НО МНОГИЕ ДО СИХ ПОР – В СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ!

– Пожалуйста! – Тонкий девчоночий голосок; и еще обрывок всхлипа. – Пожа...

– Ты слышал?! – вскидывается Рокамора.

– ПО ТОЛЬКО ЧТО ПОЛУЧЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ, ТЕРРОРИСТЫ ТРЕБУЮТ ОТМЕНЫ «ЗАКОНА О ВЫБОРЕ»!

Стон. Сдавленный, похожий на мычание. И гогот.

– Что там?! Что происходит?! – Рокамора пытается подняться и тут же ловит подбородком апперкот. – Головорезы! Что вы...

– Сидеть, мразь! Сидеть!!!

Бросаю его, распластанного в нокауте, рву на себя ручку двери, толкаю створку...

Круг черных фигур. В круге – девчонка. Голая, белая.

Поставили ее раком. Руки – заведены за спину, связаны. Она опрокинута вперед, головой вниз, упирается щекой в пол. Пижама сорвана, брошена, на ней ярко-красные пятна. Зубы впились в солдатский ремень, который пропущен, как удила, через ее распахнутый рот. Теперь она может только мычать. И она мычит – отчаянно; только ничего не разобрать.

– ПЕРЕД ВАМИ – СВЕЖИЕ КАДРЫ С МЕСТА СОБЫТИЙ! ПОЕЗДОВ, КОТОРЫЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ДЛЯ ЭВАКУАЦИИ, НЕ ХВАТАЕТ! ОБРАЗОВАЛАСЬ ДАВКА!

Загнанная толпа под нависшими деревьями. На миг мне кажется, что я вижу Джулию, но ее тут же затирают другие перекошенные страхом лица.

– БОМБУ ПОКА ОБНАРУЖИТЬ ТАК И НЕ УДАЛОСЬ! НАШ РЕПОРТЕР РАБОТАЕТ НА МЕСТЕ С РИСКОМ ДЛЯ СВОЕЙ ЖИЗНИ! В ЛЮБОЙ МОМЕНТ ВСЕ МОЖЕТ КОНЧИТЬСЯ СТРАШНОЙ ТРАГЕДИЕЙ!

Черный круг пульсирует, сжимается вокруг девчонки.

Двое в балахонах сидят перед ней на корточках, держат ее за плечи, крагой затыкают ей рот. Перекладывают ее лицо с пола себе на колени, копошатся в паху... А сзади, заламывая ей руки, почти ложась ей на голую спину, вбивая, заколачивая себя в нее жесткими ударами, дергается над ней, за ней третья фигура. С каждым толчком рот ее пытается распахнуться еще шире – на разрыв, – словно насильник проталкивает, прокачивает через нее насквозь что-то невидимое, но грязное, отвратительное, и она пытается исторгнуть это из себя наружу.

Остальные пока просто следят, но кто-то уже дергает себя, готовясь.

– Она так не чувствует ничего! Давай-ка кулаком ее еще пройди! Девчонка извивается, как насаженный на крючок червяк.

Насильник, будто ему не хватает ее отклика, поднимает заломленные худые руки-веточки повыше. Его правая кисть перемазана в красном. Маска у него на месте, но капюшон от трудов сбился назад. Делаю шаг вперед.

– Хватит! – приказываю я, но меня не слышат.

– КТО ГОТОВ ПРИНЕСТИ В ЖЕРТВУ ТЫСЯЧИ НЕВИННЫХ РАДИ БЕЗУМНОЙ ИДЕИ?!

Еще шаг. Еще.

Висок. Кудрявые черные жесткие волосы. Качаются в такт. Под ними... Налитая кровью загогулина рубца, отверстие, клочок мочки... У него нет уха.

Я проваливаюсь в эту слуховую дырку, как в черную дыру, пролетаю через пространство, через время...

Дыра выплевывает меня в яйцо, из которого нет выхода, в кинозал, в ряд между креслами, в холодное и удавливающее, как жидкий цемент, ощущение того, что вот-вот со мной случится отвратительное, страшное, непоправимое...

Мне в тот раз удалось уйти, а ей...

Я смотрю ей в глаза... Такой взгляд... Есть каналы, показывающие только архивные видео дикой природы. Некоторых успокаивает. Видел по одному из них, как гепард нагоняет антилоп. Бросается на шею, подминает под себя, заламывает голову вбок, рвет клыками артерии... Оператор-вуайерист приближается к умирающему животному... Фокусируется на гла-

зах... Там – покорность... Так странно это видеть... Потом они гаснут, превращаются в пластик...

Она гипнотизирует меня.

Я не могу оторваться от нее. Меня бросает в жар, в ушах бухают огромные японские барабаны, я хочу вмешаться, но не могу сбросить оцепенение; из груди рвется какое-то рычание, клетот... Я не слышу истерически орущего диктора, не вижу, что там на проекции...

Тут она перекачивает на меня зрачок... Не покорность, а мученичество, вот что там. Закрывает глаза...

– Прекратить! Немедленно прекратить!!! – ору я.

– МНЕ, КАК И ВСЕМ НАМ, БЫЛО НЕПРОСТО НАЙТИ СВОЕ МЕСТО В ЭТОМ МИРЕ! – признается какая-то баба. – МНЕ, КАК И ВСЕМ, ИНОГДА КАЗАЛОСЬ, ЧТО СУДЬБА ЖЕСТОКА К НАМ! ИЛИ ЧТО В МОЕМ СУЩЕСТВОВАНИИ НЕ БЫЛО НИКАКОГО СМЫСЛА! НО ТЕПЕРЬ С ЭТИМ ПОКОНЧЕНО!

Помню. Я все помню. Как не хватало воздуха; как упирался мне в спину его член; как сдал мой мочевого пузырь.

Я не подхожу даже – оказываюсь рядом с ними, вцепляюсь в его курчавые волосы всей пятерней, рву в сторону, отбрасываю его от нее.

– Ты... Ты...

– ВЕДЬ ТЕПЕРЬ У МЕНЯ ЕСТЬ ИЛЛЮМИНАТ! ИЛЛЮМИНАТ – ТАБЛЕТКИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ. РЕЦЕПТА НЕ НУЖНО!

– Выключите это дерьмо! Кто-то наконец делает тише.

– Какого хххера тут происходит?! – Я задыхаюсь – со мной такого с интерната не было. – Вы ссскоты! Какого...

– А что?! Девчонку все равно в расход пускать! Какая разница?! – крысится, поднимаясь с пола, безухий. – Тебе что, жалко?! Не каждый день такой праздник!

– Не смей! Не смей!!!

– Лучше бы своим делом занимался... – шипит он. – Куда поползла? Мы с тобой еще не закончили... – Он ловит за лодыжку скулящую девчонку. – Подожди, тебе понравится...

– Ты...

– А с тобой мы еще поговорим... – обещает мне эта мразь.

Мне перекрыли воздух и отняли у меня все слова, в меня вкачали черной бешеной крови и через край плеснули адреналина. Зззззззз... Зззззззз...

– Ты что сделал? – ошолбенело спрашивает меня здоровяк, моя правая рука в этом звене. – Ты что сделал, а?!

Этой мрази в шею шокером, и покрепче, и подольше, вот что я сделал. И еще раз.

Пятьсот Третий дрыгается на полу. Маска вся облевана, через прорези видны белки закатившихся глаз. Первый раз за столько лет я снова смотрю ему в глаза – а он не может глядеть на меня в ответ. Пинаю его в живот.

– Я здесь командир, ясно?! Я – звеньевой! Эта сучара мне не подчинялась! И закачиваю, закачиваю в легкие воздух. Стараюсь надышаться. Вспоминаю, что бросил снаружи Рокамору со свороченной челюстью.

– Бабу не трогать! Я с ней сам... Ясно?! Сам! Сейчас только...

Рокамора очухался и копошится в тряпье, сваленном у входа. Даже не обращает на меня внимания, когда я выползаю в коридор.

– Что ты там забыл?..

Он выхватывает из тряпок руку – и я упираюсь в пистолетное дуло. Вот уж чего юристам не положено.

– Что с ней?!

– Спокойно... Ребята немного расшалились, но сейчас все под контролем. – Яставляю вперед ладонь и киваю на пистолет. – Взаправдашний?

– Молчи, – шепчет он мне. – Если ты еще что-нибудь скажешь, тебе крышка. Подныриваю под ствол, вцепляюсь в его запястье, выкручиваю – выстрел?! – нет, тишина; потом железка глухо падает на пол. Отталкиваю Рокамору, подбираю пистолет. Названия нет, номера нет. Выглядит хлипко, как самоделка. А этот имбецил даже с предохранителя его не снял. Bravo.

– Подарок тебе. – Рокамора тяжело дышит, поднимаясь с пола. – С пистолетом тебе проще будет...

– Что проще?

– Все проще. Жми на курок... Дурацкое дело нехитрое. Ты же не хотел мारаться... На пару шагов отойди только... Чтобы не брызнуло...

– Ничего... – Щелкаю предохранителем. – Я, может, запачкаюсь, зато мир чище станет.

– Чище... Ты сам-то в это веришь?.. – Он криво улыбается.

– Ты убийца. Вы все убийцы. Твои ублюдки заминировали Сады Эшера...

– Не смейся! Нет никакой бомбы! – Он отмахивается от меня, как от сумасшедшего. – Хотя они ее, разумеется, найдут... Но конечно, успеют обезвредить.

– Что?!

– Это твои хозяева разыгрывают многоходовку! – Он теперь сам смеется, зло и через силу.

– Мои хозяева?..

– Неужели ты не понимаешь? Это все из-за меня.

– Конечно!

– Даже если меня шлепнут Бессмертные, все равно будет скандал. Журналисты пронюхают. В новостях покажут сначала мои выступления, а потом меня в мешке. Правозащитники вас раскатают. На выборах вашей партийке придется туговато. Может, даже министерство придется сдать... Проблема. Надо что-то делать.

– Надо, – соглашаюсь я и вытягиваю руку с пистолетом, приставляя дуло к его лбу.

– И вот Партия Жизни вам подыгрывает! За пару часов до того, как со мной перестарались во время рейда, мои товарищи – как знали! – прячут бомбу в этих чудесных садах. Чтобы попасть в один выпуск новостей с сообщением о моей случайной смерти. Потому что, во-первых, тогда получается, что я это как бы заслужил. А во-вторых, чего этих ублюдков вообще жалеть? Как они с нами, так и мы с ними! А?!

– Гребаный параноик...

– «Паранойя!» – вопит марионетка, которой рассказали о кукольном театре. Открывается дверь, в коридоре появляется здоровяк.

– Все нормально?.. Ого...

– Слушай, – говорю я ему, не опуская ствол. – Забирай остальных и расходитесь. Я тут подчищу все. Это вас не касается. Не знаю, что вам безухий наплел... И да, прихватите эту пададь с собой.

Из-за двери выглядывает еще одна маска.

– Давай мы подстрахуем, – топчется здоровяк.

– Уматывайте, я сказал! – ору я. – Живо! Это мой скальп, ясно?! И никто себе его не присвоит, ни ты, ни эта безухая мразь!

– Какой скальп? Я под такое вообще не подписывался, – ноет за широкой спиной громилы кто-то еще из звена.

– Ну и ладно! – взрывается здоровый. – И пошел ты на хер! Забираем Артуро и валим! Пусть этот психопат сам разгребает тут все!

Они выносят этого своего – и моего – Артуро. Он огромной мясной куклой свисает с их рук, пальцы волокутся по полу, ширина расстегнута, из-под маски тянется паутинка слюны, воняет кислым.

Рокамора следит за всем молча, не дергается. Дуло прижато к его лбу.

Процессия удаляется, пока не скрывается за углом.

– Зачем? – спрашивает у меня Рокамора.

– Не могу, когда смотрят.

– Слушай... Это правда не мы. Сам подумай... Партия Жизни – и массовое убийство... Это же нас навсегда... Дискредитирует. Я и своим это сколько раз говорил... Партия Жизни – убивает... Это не партия, а оксюморон какой-то... Я бы никогда... – частит он.

– Да насрать мне на твою партию. У меня конура – куб два на два. Понимаешь? Каждый день туда возвращаться... Я в лифтах еле езжу, а мне жить в этом склепе. Вечно. И тут такая возможность. Повышение. Нормальные условия.

С кем мы ближе, с кем свободней, с кем искренней – с человеком, с которым только что переспали, или с человеком, который находится в нашей власти, и которого мы готовимся казнить?

– Ты не хочешь это делать, да? Ты же нормальный парень! Там, под маской... У тебя же там лицо есть! Ты просто послушай... Они что-то готовят. На нас сейчас охоту открыли... Мы столько лет действовали... Угрожали нам, конечно, но... Сейчас нас просто убирают... – торопится он.

– И я вот в эту свою конуру приду – и без снотворного не могу. Крыша едет. Еще сны эти, конечно... Если не убиться, снова все это вижу, – перебиваю его я.

– А что мы сделали? Что мы вам сделали? Прячем тех, кто не хочет с детьми расставаться? Нарушителей укрываем? Вы нас террористамиставляете, а мы – армия спасения! Тебе этого не понять, конечно... Там дело ведь не в том, что ты свою молодость отдаешь за своего ребенка! В другом дело! В том, что ты умрешь раньше, чем он вырастет! Что ты его одного бросишь... Что тебе с ним прощаться надо будет! Люди этого боятся! – Он распаляется, забывается.

– А вы прикрываете этих гребаных трусов! Стерилизовать – и тебя, и всех вас! Мы все равно всегда всех находим! Рано или поздно! И ты знаешь, что происходит с детьми, которых конфискуют! Добренькие вы, да?! Да этим выблядкам вообще лучше не появляться на свет, чем так!

– Не мы это придумали! Это ваши законы! Какая сволочь придумала заставить нас выбирать между своей жизнью и жизнью наших детей?!

– Заткнись!

– Это все твои хозяева! Это они вас калечат, они нас травят! Им спасибо! За детство твое! За то, что у тебя семьи не будет никогда! За то, что я сейчас сдохну! За все!

– Что ты знаешь про мое детство?! Ты ничего не знаешь! Ничего!

– Я не знаю?! Это я не знаю?! – взрывается он.

– Заткнись!!!

Я зажимаюсь.

Вжимаю спусковой крючок.

Последнее, что я видел, – его глаза. Я вроде бы встречался уже когда-то с ним взглядами... Смотрел уже в эти глаза... Где? Когда? Сухой щелчок. Глушитель.

Из меня одним толчком выплескивается все – все, что набухало, давило, распирало меня изнутри. Будто кончил. Звука падающего тела не было. Выстрела не было?

Осечка? Пустой магазин? Не знаю. Не важно.

Я израсходовал всю злость, все силы, весь драйв, которые скопил для убийства. Все их вложил в этот холостой выстрел. Открываю глаза.

Рокамора стоит передо мной, зажмурившись тоже. На брюках – темное пятно. Мы все отвыкли от смерти – и жертвы, и палачи.

– Осечка, кажется, – говорю ему я. – Открой глаза. Сделай шаг назад. Он слушается.

– Еще один.

– Зачем?

– Еще.

Он отходит медленно, пятясь спиной, не спуская глаз с пистолета, который все еще смотрит в середину его лба.

Я не могу убить его еще раз. Меня не хватает на это.

– Проваливай.

Рокамора ничего не спрашивает, ни о чем не просит. Не поворачивается ко мне спиной. Думает, что выстрелить ему в спину мне храбрости хватит.

Через минуту он исчезает в темноте. Я с усилием сгибаю затекшую руку, в которой держу пистолет, проверяю магазин: полная обойма. Подношу дуло к виску. Странное чувство. Пугает легкость, с которой можно, оказывается, прервать свое бессмертие. Играю с этим: напрягаю указательный палец. Сдвинуть спусковой крючок на пару миллиметров – и все.

Из квартиры слышится всхлип.

Опускаю руку и, пошатываясь, захожу.

Все вверх дном, ящики почему-то все открыты. На полу – густеющие блестящие пятна. Девчонки нет.

По следу идти недолго. Она сидит в ванной, забралась в душевую кабину с ногами. Пытается отползти от меня, но упирается в стенку. Повсюду красное – на кафеле, на поддоне, на ее руках, в волосах – наверное, пыталась их пригладить. Какие-то жуткие ошметки пропитывают кровью брошенное на пол полотенце...

Выпотрошенный я, выпотрошенная она, распотрошенная квартира. Мы подходим друг другу.

– У м-меня... К-кровь... Я... Я п-потеряла... П-потеряла... Не надо б-больше... Пожалуйста...

– Это не я... – успокаиваю ее дебильно. – Правда, не я. Я ничего вам не сделаю.

Для нее мы все одинаковые, думаю я отстраненно. Пока мы в масках, мы все одинаковые. Так что в какой-то степени это именно я.

Сажусь на пол. Хочу содрать с себя Аполлона, но не решаюсь.

– В-вольф? Он ум-мер?

Все ведь неплохо начиналось. Меня послали сюда убрать опасного террориста и зачислить свидетелей операции, отдали под мою команду звено Бессмертных. Но террорист оказался ноющим интеллигентом, свидетели – ревущей девчонкой, вверенное мне звено – бандой озабоченных садистов, а я сам – размазней и слабаком. Террорист отправился по своим делам, мой дублер-проверяющий пускает слюни в коме, а свидетельница ничего не видела. К тому же у нее выкидыш, так что мне теперь ей даже инъекцию нет оснований делать, не говоря уже о том, чтобы ее пристрелить. Явно не мой день.

– Нет.

– Его з-забрали?

– Я его отпустил.

– Г-где он?

– Не знаю. Ушел.

– Как уш-шел? – Она растеряна. – А я? Он не в-вернется за м-мной? Жму плечами.

Она обнимает колени, ее трясет. Она совсем голая, но, кажется, даже не понимает этого. Волосы спутаны, склеены, свисают багровыми сосульками. Плечи изодраны. Глаза красные. Аннели. Она была красивой девчонкой, пока не попала под каток.

– Вам, наверное, к врачу хорошо бы, – говорю я.

– А тебе не н-надо меня... Разве... В расход? Качаю головой. Аннели кивает.

– Как т-ты д-думаешь, – спрашивает она. – Он всерьез г-говорил про аб... про аборт?

– Понятия не имею. Это уж ваши с ним отношения.

– Это его ребенок, – зачем-то говорит мне Аннели. – Вольфа. Я стараюсь не глядеть на кровавую кашу на полотенцах.

– Он террорист. Его не Вольф зовут.

– Он мне говорил, что хочет этого ребенка.

Мочки у нее порваны, сочатся стынувшей кровью; там, наверное, были сережки. Острые скулы; не они – ее лицо было бы идеально выверено, выточено на высокоточном молекулярном принтере; не они – оно было бы слишком правильно. Брови тонкие, вразлет. Прикоснуться к ее брови, провести по ней пальцем... Слезы ползут поверх бурой корки, она размазывает их кулаками.

– Как твое имя?

– Тео, – отвечаю я. – Теодор.

– Можешь уйти, Теодор?

– Тебе надо к врачу.

– Я тут останусь. Он ждет, пока вы все уйдете. Он не вернется за мной, пока ты не уйдешь.

– Да... Да.

Я поднимаюсь, но медлю.

– Слушай... Меня зовут Ян на самом деле.

– Можешь уйти, Ян?

В коридоре я в первый раз вспоминаю, что здоровяк мне говорил о наблюдении: все подходы к квартире просматриваются. Вокруг понатыкано камер; пока я обсуждал с Рокаморой, разmozжить мне ему голову или нет, кто-то пиялился на реалити-шоу и жрал поп-корн.

В той детской книжке-игрушке, где надо было провести заблудившегося зайчика через лабиринт, у меня все вышло удачней. Проплутав по всем тупикам и закоулкам, я все же вывел его к домику. Девочка была в восторге. Даже поцеловала меня, но я был в маске и ничего не почувствовал. А потом за ней приехала спецкоманда.

Если камеры тут повсюду, не все ли равно, в какую глядеть? Я делаю книксен, закидываю маску в ранец и ухожу. Гасите свет. Представление окончено.

Глава VII. День рождения

Солнце почти остыло, и к нему можно притронуться, не боясь обжечься. Ветра не слышно, но он тут: подталкивает коконы висячих кресел туда-сюда, смотрит на них задумчиво.

Теплый воздух обтекает мое лицо.

Дом – огромные окна с выбившимися наружу занавесками, ваниль стен тает во рту у неба – мерно дышит, живой. На мореных досках веранды греется кошка. Перспектива – выпуклости холмов с сидящими на них часовенками, будто груди с пирсингом сосков, темные ложбинки, возбужденные столбики кипарисов – медленно въезжает в ночную синеву.

Фигура, ютящаяся в одном из коконов, невесома; ветру нетрудно качать ее. Хотя второе кресло пусто, у них одна амплитуда. Это девушка – красивая, мечтательная. Она читает, подобрав под себя ноги, уютно закутавшись в какую-то историю, на ее губах нечеткая улыбка, словно отражение улыбки в зыбкой воде.

Я узнаю ее.

Русые волосы достают до плеч, челка срезана косо, запястья такие тонкие, что наручников к ним и не подобрать. Аннели.

Сейчас – свежая, несорванная – она восхитительна. И она моя. Моя по праву.

Прежде чем подойти к ней, я обхожу дом вокруг. К крыльцу прислонен маленький велосипед с хромированной рогатиной руля и блестящим звонком. Дверь не заперта. Поднимаюсь на крыльцо, прохожу.

Пол из темных керамогранитных плит, медитативные абстракции на крашенных в шоколад стенах, мебель простая и изящная, каждый предмет будто вычерчен одной линией.

Это снаружи дом составлен из прямых углов, а внутри их нет вовсе. Низкая тахта – округлая, обтянутая темно-горчичным фетром – зовет упасть. Круглый обеденный стол – зеркальное черное стекло, три деревянных стула с кожаными сиденьями. Зеленый чай в прозрачной кружке, похожей на маленький кувшин: в кипятке распустился засушенный экзотический цветок.

Что-то царапает глаз. Останавливаюсь, возвращаюсь...

На стене висит распятие. Крест небольшой, с ладонь размером, из какого-то темного материала, весь несовершенный – кривовато сделанный, поверхность креста и пригвожденной к ней фигурки не гладкая, а будто состоит из тысячи крохотных граней. Будто ее не собирали по молекулам из композита, а вырезали, как в древности, ножом из куска... Деревя? На лбу у фигурки венец, похожий на кусок колючей проволоки – выкрашенный в позолоту. Пошлейшая статуэтка.

Но почему-то я не могу отвести от него глаз; смотрю околдованно, пока в ногу мне что-то не тычется...

Игрушечный робот ездит по какой-то своей траектории, напевая дурацкую песенку. Его машинное лицо заклеено пленкой, на которой нарисована веселая рожица. Робот тычется в полусобранную модель межгалактического «Альбатроса», запинаясь о разбросанные детали.

Кто запустил его и кто не закончил собирать модельку звездолета?

В углу – поднимающаяся на второй этаж лестница: ступени-платформы крепятся к стене только одним торцом, сбоку кажется, что они висят в пустоте. Сверху долетает бречание, «пиу-пиу» потешных выстрелов, смех – высокий, детский.

Смотрю вверх, вслушиваюсь в смех. Мне хочется подняться по лестнице, встретиться с тем, кто играет там сейчас... Но я знаю, что мне нельзя.

Я прохожу холл насквозь и останавливаюсь у окна.

Прислоняюсь лбом к стеклу, вглядываюсь в женский силуэт, маятник на ветру.

Улыбаюсь.

Моя улыбка – отражение ее отраженной улыбки в черном зеркале.

Она не видит меня – слишком увлечена чужой придуманной историей. Закорючки букв ползут сверху вниз по экрану ее читалки, будто осыпающийся песок через колбы стеклянных часов. Возникают из ниоткуда и проваливаются в никуда, а она бредет через эти зыбучие пески, и ей дела нет ни до чего больше.

Аннели не видит меня – и не видит никого другого. Никого из тех, кто сейчас смотрит на нее из укрытия.

Толкаю дверь, ведущую на веранду.

Ветер захлопывает ее за мной нарочито громко – и только теперь она меня замечает. Спускает ноги.

– Аннели? – зову ее я. Она поджимается.

– Кто вы? – Голос дрожит. – Мы знакомы?

– Мы виделись однажды. – Я приближаюсь к ней не спеша. – И с тех пор я не мог вас забыть.

– А я вас не помню. – Она слезает с кресла, как ребенок с качелей.

– Может быть, это потому, что я тогда был в маске? – говорю я.

– Вы и сейчас в маске. – Аннели делает шаг назад; но за ее спиной – ограда, через которую ей не перелезть. – Что вы здесь делаете? Зачем пришли? – спрашивает она.

– Я соскучился.

На ней удобное милое платьишко – домашнее, неигривое – по колени и по локти. Оно не показывает ничего, но и не надо. Есть такие коленки, которых одних достаточно, чтобы отказаться от всего прочего в мире. Шея – худая, детская какая-то... Артерия выпирает веточкой.

– Я вас боюсь.

– И зря, – улыбаюсь я.

– Где Натаниэль?

– Кто?

– Натаниэль. Мой сын.

– Ваш сын?

В ее зрачках дрожит тревога. Неужели она ничего не понимает?

Аннели глядит через мое плечо на дом. Я оборачиваюсь тоже. Темнеет, но свет в окнах второго этажа все не зажигается. Не слышно больше «пиу-пиу», иссякло смешливое эхо. Второй этаж пуст.

– Его нет.

– Что?.. Что случилось?! – Она останавливается.

– Он... – Тяну время, не знаю, как объяснить ей.

– Говорите! – Ее кулаки сжимаются. – Я требую, понятно?! Что с ним случилось?!

– Он не родился.

– Вы... Что за чушь! Кто вы?!

Я вскидываю руки: тихо, тихо.

– У вас произошел выкидыш. На третьем месяце.

– Выкидыш? Как это может быть? Что вы несете?!

– Произошел несчастный случай. Травма. Вы не помните?

– Что я должна помнить?! Замолчи! Натаниэль! Где ты?!

– Успокойся, Аннели!

– Да кто ты такой?! Натаниэль!

– Тсс...

– Оставь меня! Отпусти!

Но чем злее, чем отчаянней она – тем больше это меня дразнит. Я хватаю ее за волосы, прижимаюсь ртом к ее губам – она кусает мой язык, рот наполняется горячим и соленым, но меня это только подхлестывает.

Волоку ее по траве к веранде, к заброшенному дому.

Десятки глаз наблюдают за нами сквозь прорези на масках, невидимые в навалившейся темноте. Следят неотступно и ждут требовательно. Их взгляды подстегивают меня. Я делаю то, что хотят сделать они все.

Я втаскиваю ее по ступеням вверх, на веранду, как на жертвенник. Толкаю спиной вперед на доски. Не даю отползти, наваливаюсь сверху. Раздергиваю руки в стороны, еле сдерживая себя, ищу застежку на платье, не вытерпливаю, рву его. Ткань податлива. Я окаменел. Давлю на нее. Бугорки мышц под матовой кожей, завернутый пупок, какие-то беспомощные соски.

Она сопротивляется молча, яростно.

– Постой... – шепчу я ей. – Ну?! Я ведь тебя люблю...

Трусики – хлопок, летние. Хочу запустить ей туда руку, но как только освобождаю на секунду ее запястье – оно все умещается в браслете из моих большого и указательного пальцев, – Аннели впивается ногтями мне в щеку, изворачивается, пытается сбросить меня, выскользнуть...

Щека саднит. Притрагиваюсь: щетина, мигом вспухшие росчерки от ее ногтей... На мне нет маски! Куда делась моя маска? Я вообще надевал ее?

Те, кто смотрит за нами из темноты, сейчас наверняка смеются над моей неловкостью.

– Так дело не пойдет! – рычу я. – Слышишь?! Так дело не пойдет! Надо как-то стреножить ее... Обездвижить... Как?!

И тут я вспоминаю, что в ранце у меня завалялись несколько превосходных гвоздей и молоток. Вот и решение.

– Прекрати дергаться! Прекрати! Хватит! Иначе мне придется...

Она не собирается меня слушаться, продолжает выкручиваться, елозит, бормочет что-то жалостно-злое. Рассыпаю гвозди по веранде, один по-плотницки зажимаю во рту.

Улучаю миг и, приставив граненое острие к ее узкой ладошке, заколачиваю с размаху, одновременно пытаюсь прорваться в нее...

– Тебе хорошо?.. Хорошо тебе, сучка?! Ааа?!

– Ааа!!!

Она наконец кричит – оглушительно громко. Это не визг, а гортанный вопль – низкий, сиплый, мужской.

Я просыпаюсь от этого страшного сатанинского ора. Своего собственного.

– Свет! Свет!

Зажигается потолок. Сажусь в койке.

В штанах стоит колом. Сердце ухает. Подушка – насквозь. Во рту солоно. Подношу ладонь – красное. Стены куба, не давая мне отдышаться, начинают сходиться, норовя растереть меня в порошок.

На столике – початая пачка снотворного. Я купил его, я ведь помню, что его купил! Так какого же...

– Суки! Жлобье!

Я только затем и жру эти гребаные таблетки, чтобы не видеть ничего, хотя бы когда сплю. Любил бы я сны – вышла бы солидная экономия. Я плачу за гарантию того, что когда я закрою глаза, наступит темнота! И вот эти твари решили урезать мой рацион орфинорма, чтобы что? Чтобы сберечь грошик?

Еле сдерживая бешенство, я принимаюсь сравнивать химический состав на истраченной упаковке снотворного с этикеткой на новой... Все совпадает. Дозировка орфинорма та же, что и обычно.

Они тут ни при чем, наконец смиряюсь я. Дело во мне. Мне больше не хватает моей дозы. Я к ней привык. Начиная с завтрашнего дня буду пить две пилюльки вместо одной. Или три. Хоть всю пачку.

Да зачем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня?

Глотаю два шарика.

Последнее, о чем успеваю подумать: то, что я сказал Аннели, прежде чем прибить ее гвоздями к веранде, – мое первое в жизни признание в любви.

Когда пищит будильник, я его затыкаю.

Тем, кого с первыми лучами солнца собираются вздернуть, тоже, наверное, просыпаться неохота. В Европе казнь, правда, отменена как частный случай смерти, но сегодняшний день все равно не сулит мне ничего хорошего. Я всерьез думаю, не пропихнуть ли в себя насухо еще пару сонных пилюль и не промотать ли вперед сутки-другие – пока я не потребуюсь отчизне до зареза и за мной не пришлют кого-нибудь.

Но тут я отчего-то начинаю мандражировать, и сон отваливает, оставляя меня в тесной койке одного – взопревшего и злого на себя. Ослушаться приказа – это все-таки крайне неудобно. Вчера-то я, идиот, оторвался от земли, обуянный своим идиотским праведным гневом, окрыленный своим идиотским великодушием и надутый адреналином. Сегодня от всех этих злоупотреблений у меня похмелье.

Так и вижу золотые врата в мир избранных, с лязгом захлопывающиеся прямо у меня перед носом. Над моей головой смыкаются грозовые облака, навсегда закрывая от меня волшебные летучие острова; выдернутый Шрейером из забвения, я буду обратно в забвение и заброшен...

И тут я вспоминаю о том, что сделал с Пятьсот Третьим.

Нет. Такого они мне не спустят. Поднять руку на брата...

Ничего, что европейские суды слишком гуманны. У Бессмертных есть своя инквизиция, свои трибуналы. Медиа трубят о нашей безнаказанности, но это все чушь. Их наказания против наших – как отцовский ремень против дыбы. Просто от человеческих законов у нас прививка, а от нашего Кодекса иммунитета нет ни у кого.

И все же... Все же я рад, что мне не пришлось убивать ее.

Аннели.

Коммуникатор пиликает: вызов. Вот и они.

На всю стену разворачивается картина – незнакомый мне хлыщ в переливающимся костюме. Хлыщ глядит на меня строго, но мне не страшно. Это не из наших – наши, как педики, не наряжаются, – а больше я никого не боюсь.

– Я помощник сенатора Шрейера, – говорит переливающийся. Сколько у него этих помощников? Киваю выжидающе.

– Господин Шрейер хотел бы пригласить вас на ужин сегодня. Вы сможете быть?

– Я себе не принадлежу, – отвечаю я.

– Значит, будете, – соглашается он. – Башня «Цеппелин», ресторан «Дас Альте Фахверкхаус».

Такое название с ходу не запомнишь, и после того как он отключается, мне приходится выспрашивать у терминала названия всех ресторанов в «Цеппелине». Ничего, так даже лучше. Отвлекает.

Пока я провожу свои изыскания, через весь экран бежит строка: «Молния! Мощности бомбы, которую полиция обезвредила в Садах Эшера, хватило бы для уничтожения всей башни «Октаэдр»». Привет, Рокамора.

Я листаю страницы ресторанов и размышляю, зачем меня вызывает Шрейер. О том, почему на этот раз он выбрал ресторан – публичное место. И о том, не заберут ли меня на трибунал до того, как я успею поужинать.

До вечера я в гимназиуме.

Бег, бокс, что угодно, лишь бы держать голову пустой. И рядом со мной – целая армия людей, которым тоже хочется выкачать из мозгов все мысли и заместить их горячей свежей кровью. Двадцать тысяч беговых дорожек, три гектара силовых тренажеров, тысяча теннисных кортов, пятьдесят футбольных стадионов, миллион тренированных тел. И такие есть, наверное, в каждой третьей башне.

Вакцина сделала нас вечно юными, но юность еще не означает силу и красоту; сила воздается тем, кто ее тратит, красота – это нескончаемая война с собственным уродством, любое перемирие в которой означает поражение.

Быть ожиревшим, быть чахлым, запаршиветь и покрыться прыщами, горбиться или косолапить – позорно и омерзительно. Отношение к тем, кто запускает себя – как к прокаженным. Отвратительнее и постыднее – только старость.

Человек создал себя прекрасным внешне и совершенным физически. Мы должны быть достойны вечности. Когда-то, говорят, красота была отклонением и привлекала всеобщее внимание; что ж, теперь она – норма. Хуже от этого мир точно не стал.

Гимназиумы – не просто развлечение.

Они помогают нам оставаться людьми.

Занимаю свое место – пять тысяч трехсотое – на беговых дорожках. Тренажеры, хоть и стоят подряд, а развернуты лицом к стене, все снабжены проекционными очками с шумоподавляющими наушниками. Получается удобно: каждый в своем мирке, никому не тесно, и, хотя все бегут в стену, каждый попадает в страну своих грез.

Надеваю очки и я. Будем смотреть новости.

Репортаж – опять из России; там, кажется, начинается серьезная заварушка. Камера нацеливается на мертвеца. Здорово: у кого-то дела идут еще хуже, чем у меня. Сначала хочу переключиться на что-нибудь повеселей, но смерть завораживает. Оставляю новости. Надо уже разобраться, что там за дела у них.

Репортаж – в стиле «своими глазами», как сейчас модно. Якобы зритель – участник событий. Все снято так, будто я лично за каким-то чертом поперся в эти гиблые земли, а бородастый корреспондент – мой проводник, который запанибрата вводит меня в курс дела. Мы с ним сидим за столом, сколоченным из грубых досок, в крошечной комнатенке, стены которой из какого-то странного материала – бурые, неровные. В мятой железной посудине посреди стола дымится ядовитая баланда, и по глаза заросшие варвары хлебают ее ложками прямо оттуда в хитром иерархическом порядке. На меня они косятся недобро, но в рассказ репортера не вступают.

«Помнишь, наверное, что в России население от смерти никогда не вакцинировали, да? Странно даже, учитывая, что вакцину изобрели именно тут. Сейчас об этом редко вспоминают. В Европу и Панамерику русские ее продавали, а у себя почему-то внедрять не стали. Объявили, что народ к этому не готов, дескать, последствия и побочные эффекты непонятны, все-таки генная инженерия, и сначала нужно проверить на добровольцах. В добровольцев тоже брали не всех. Кого именно привили, держали в тайне. Опыты на людях – история непростая. Этика... Публика сначала интересовалась, но потом к этой истории охладела. Говорили, что эксперимент как-то не так пошел и что на населении применять вакцину еще рано...»

И вдруг: офицерский ремень, пропущенный через разорванный рот. Искусанные в кровь губы. Выпученные глаза. Взгляд антилопы – ужас и покорность. Заведенные за спину руки. Бледные ягодицы, ярко-красные полосы от хапавших ее пальцев. Черная фигура, которая будто приросла к белой тонкой плоти, рвет ее толчками, помогает себе ее болью, задирая заломленные назад руки все выше и выше. Суетливые, дерганные, звериные движения. Трясучка. Хрип. Крик.

Делаю громче, чтобы заглушить ее крик, – точно так же, как вчера делал громче тот, кто ее насиловал. Голос с экрана забивает мои мысли.

«...К этому времени Россия была уже закрытой страной, так называемый национальный выход в офлайн уже произошел, а в отношении новостей с Запада работал так называемый моральный фильтр. Все, что власти считали «аморальным», в России никто не узнавал. То, что в Европе людей уже всюю прививают, например... И то, что прививка от старости дает потрясающие результаты – тоже. Российский эксперимент на добровольцах, наконец сообщили медиа, закончился трагедией».

Снаружи что-то ухает, стол подпрыгивает, и с низких перекрытий прямо в посуду с варевом сыпется пыль. Варвары вскакивают со своих мест, хватаются за тусклые зазубренные сабли, один открывает в потолке люк – внутрь хлещет свет. Репортер щурится, чешет неопрятную бороду, достает из зарослей что-то живое, давит его ногтем. Он и сам выглядит, как один из этих дикарей. Эффект присутствия есть. Этому человеку хочется верить.

Тот, что выглядывал, машет рукой и возвращается за стол. Бородач оборачивается ко мне и продолжает:

«Страна экспортировала вакцину в огромных количествах, но русские продолжали стареть и гибнуть. Почти все. Лет через двадцать некоторые стали подмечать, что политическая и финансовая элита России – узкий круг, несколько тысяч человек – не только не умирают, но и не проявляют никаких признаков нормальных возрастных изменений... Президент, правительство, так называемые олигархи, верховные чины армии и спецслужб... Очевидцы утверждали, что эти люди, наоборот, молодеют. В народе поползли слухи, что жертвы эксперимента по вакцинации, имена которых были строго засекречены, оказались вовсе не жертвами. Якобы опыт по омоложению российская власть поставила на себе. Государственные медиа немедленно опровергли эти сплетни, народу был предъявлен постаревший президент – но только на экране. На публике вживую он больше не появлялся, как и все его ближнее окружение. Вообще прямые контакты с населением были сведены к минимуму. Правители перестали покидать Кремль – крепость в центре Москвы. Хотя формально главой государства являлся президент, во всех его обращениях к гражданам России стала использоваться коллективная форма – «мы», без уточнения того, кто именно входит в число принимающих решения. В народе эту группировку прозвали «Большим Змеем». И этот Большой Змей находится у власти в стране уже несколько столетий».

Один из варваров, услышав знакомое слово, сует мне в нос обрывок флага: символическое изображение дракона, пожирающего свой хвост. Видимо, захваченный в бою вражеский штандарт. Бородач плюет на дракона, швыряет его на пол и топчет, изрыгая на своем корявом наречии ужасные проклятия, состоящие сплошь из «р», «ш» и «ч». Репортер сочувственно смотрит на дикаря, давая ему высказаться, потом снова поворачивается к объективу.

«Сегодня средняя продолжительность жизни в России – тридцать два года. Но эти люди убеждены, что страной до сих пор управляют те же лидеры, что и четыреста лет назад», – заключает он.

Занимательно.

Нет, правда занимательно. Мне кажется, я начинаю подсаживаться на русские хроники, как на сериал. Завтра, если попаду в спортзал, опять врублю этот трэш.

До самого конца занятий я больше не думаю об Аннели; а главное, не думаю о том, почему я о ней думал.

Башня «Цеппелин» больше похожа на ткнувшуюся носом в землю древнюю авиабомбу за миг до взрыва. Она не слишком высока, не больше километра, но монохромная, аскетичная, чугунно-суровая и серьезная непробиваемой германской серьезностью – кажется центром тяжести если и не мира, то уж точно – всей округи. Где-то внизу, говорят, распластался старый Берлин, который башня «Цеппелин» вот-вот сокрушит, а на одном из огромных декоративных стабилизаторов в самом верху находится ресторан «Das Alte Fachwerkhaus».

Лифт тут ультрасовременный, просторный. Стена в нем одна сплошная: кабина круглая, и стена эта, разумеется, проекционная. Пока я лечу вверх с ускорением 2g, лифт пытается убедить меня, что я нахожусь в белой гипсовой беседке посреди летнего парка. Очень мило, спасибо.

У самого выхода меня встречает хостесс в платье для ролевых игр на баварскую тему. Ее декольте напоминает поднос, на который выложено само немецкое гостеприимство, и призвано завораживать.

Но перед моими глазами – свисающий с рук Бессмертных человек без одного уха. Тонкая ниточка слюны из распахнутого рта... Ну и черт с ним, решаю я наконец. Пусть меня сейчас за это хоть распнут, оно того стоило.

Сверив мое имя со списком резерваций (О, у нас тут очередь на полтора года вперед!), декольте уплывает, маня меня за собой, по стеклянному туннелю, где стены и потолок сделаны из облачной ваты, к укрытому куполом старинному домику в традиционном немецком стиле: белые стены, мореные балки крест-накрест, покатая черепичная крыша. Не стой этот домишко на самом краю километровой пропасти, не было бы в нем ничего особенного.

Внутри фахверкхауса – безудержное веселье. Кто-то горланит песни, стуча по тяжелым дубовым столам литровыми пивными кружками, кто-то, завалив собутыльника за барную стойку, чистит ему морду. Лавируя между длинными скамьями и столами, официант в допотопном костюме – век двадцатый навскидку – несет зажаренного поросенка, и какой-то упитанный господин ползет за ним на четвереньках. Поросяенок – если это не муляж, отпечатанный на объемном принтере, конечно, – должен стоять, как моя месячная аренда. Спокойней думать, что это муляж.

Зачем я тут? Чтобы молить господина Шрейера о прощении, пока он будет обсасывать поросенчьи уши? Или сыграть дрессированного медведя на цепи, чтобы развлечь его заскучавших компаньонов?

Я, в общем, готов ко всему.

Меня ведут через этот кавардак в приватные комнаты. Дверь причмокивает у меня за спиной, и я оказываюсь прямо перед ним.

Полумрак. Уютный кабинет, небольшой стол. Кожаные кресла, настоящие свечи. Портреты каких-то напыщенных пуделей в сюртуках, широченные золотые рамы. Наверное, один из них, брыластый, – Бах. Словом, классика.

Три стены в обоях с классическим рисунком, а четвертая – прозрачная, и сквозь нее виден общий зал. Эрих Шрейер смотрит на нее так, словно наблюдает бал привидений или историческое видео, ни единого из героев которого давно нет в живых. Напротив сидит Эллен. Оба молчат. Больше внутри никого нет.

Я в замешательстве.

– А, Ян. – Он приходит в себя.

Осторожно сажусь сбоку. Эллен улыбается мне, как старому знакомому. Думаю: начать ли мне оправдываться первым или подождать, пока он предъявит мне обвинения?

– Тут хорошее мясо, – говорит мне Шрейер. – И пиво, разумеется.

– Последняя вечеря? – не удерживаюсь я.

– Странно, что ты так свободно оперируешь христианскими клише. – Он растягивает губы. – Для человека твоего возраста. Тянешься к богу?

Я качаю головой и улыбаюсь. Если бы я и тянулся к старику, то только для того, чтобы врезать ему как следует. Но бог – голограмма, по нему не попасть.

– Когда-то похожий ресторанчик был в старом Берлине. – Шрейер смотрит сквозь стену. – Рядом с Хакеше Маркт. «Цум Воль» назывался. «На здоровье». Мы там всегда отмечали день рождения моего отца. Он непременно заказывал риндербрaten, говяжью отбивную, и картофельный салат. Всегда одно и то же. Простой человек. Настоящий... А пиво у них было свое собственное. Черт знает когда это все... Середина двадцать первого века.

Мне казалось, я владею своей мимикой: если что, всегда могу прикрыться улыбкой; но Шрейер разоблачает меня немедленно.

– Ну да, – усмехается он. – Выходит, мне уже хорошо за триста. Я ведь, так сказать, один из первопроходцев.

Он притрагивается к своему лицу – лицу тридцатилетнего, пышущего здоровьем мужчины. Никакого обмана: той матрешке, которая снаружи, действительно тридцать.

– Но так и не скажешь, а?

Скребется официант. Шрейер просит риндербрaten и картофельный салат. Я копирую его. Эллен заказывает бокал красного и какой-то десерт.

– Отец мой руководил в свое время одной из передовых лабораторий. Занимался именно продлением жизни и преодолением смерти. Заразил меня своей страстью... Но мне для науки никогда не хватало усидчивости. Бизнес, политика – вот это мне давалось всегда. Отцу не хватало средств на исследования...

Многие считали его идеи бредовыми. Я вливал в его лабораторию все, что у меня было.

Приносят огромные пивные кружки под пенными шапками, Эллен вручают ее вино. Шрейер не притрагивается ни к чему.

– Он клялся, что находится в шаге от открытия, и сначала ему верили. Его снимали, про него писали, он был знаменитостью. Но годы шли, а истина ему все не давалась. Сначала его принялись высмеивать, потом стали забывать. Но такие фанатики, как он, работают не за славу и не за деньги. Когда ему исполнилось восемьдесят, он вовсю уминал мясо в «Цум Воль» и уверял мою мать, что до решающего прорыва осталась всего пара лет.

Эллен делает глоток – одна, не дожидаясь нас, Шрейер не обращает на нее внимания. Пена на его кружке уже опала.

– Мать умерла через год. И тогда же я прекратил его финансировать.

Я ерзаю на стуле. Не то чтобы я не привык исповедовать людей – когда у тебя в руках инъектор, многие торопятся вывернуть свою душу наизнанку. Но когда перед тобой обнажится демиург, чувствуешь какую-то неловкость.

– Он принял мое решение очень достойно. Не кланчил ничего, не проклял меня, даже не прекратил со мной разговаривать. Просто поблагодарил за все годы, что я его поддерживал, закрыл лабораторию и уволил людей. Перетащил самое необходимое в опустевшую квартиру и продолжил работу там. Это превратилось в его личный крестовый поход. Он пытался обогнать свою смерть. Руки не слушались его, голова соображала все хуже, в последние годы он не вставал с кресла-каталки. Пару раз я срывался на него, кричал, что он испортил жизнь и себе, и матери. Моя память убеждает меня, что я сохранял благородство и никогда не попрекал его деньгами, но, в конце концов, мне триста с лишним лет, а память всегда старается усыпить совесть.

Вносят отбивную и картофельный салат. Он не притрагивается к еде; риндер-брaten дымится, остывая. Шрейер смотрит в зал и вправду видит там призраков. Барабанит пальцами по столу.

– У меня была уважительная причина: наша компания покупала давнего конкурента, на счету был каждый грош. Я и тогда спрашивал себя: ну а что, если ты все-таки поверишь ему? Если продолжишь оплачивать все счета его лаборатории? Вдруг он успеет сделать этот последний рывок – и... И не умереть? Обессмертить себя – и заодно всех нас? Но я уже не верил в него. Хотел бы верить – и не мог себя заставить.

Шрейер вздыхает. Из зала доносится смех, словно ротвейлеры лают.

– Он умер, когда ему было восемьдесят шесть. В день своей смерти звонил мне и божился, что находится в шаге от открытия. Русские получили Нобелевскую премию за свои опыты через два года. В их решениях не было ничего общего с идеями моего отца. Я потом отдавал отцовские работы на экспертизу. Мне сказали, что он шел по тупиковому пути. Так что, выходит, я был прав, отказав ему в деньгах. Отец все равно не успел бы... Не смог бы.

Он улыбается, стряхивая с себя оцепенение. Поднимает кружку – пена уже осела.

– Сегодня его день рождения. Ты не против выпить за него? Я пожимаю плечами, мы чокаемся. Делаю глоток. Кислятина.

– Вкус почти такой же... – закрывает глаза Шрейер. – Не совсем, и все же...

Эллен просит у сунувшегося официанта повторить бокал. Шрейер отхлебывает свое пиво маленькими глотками – долго, не останавливаясь, постепенно осушая огромную кружку, со странным выражением на лице – словно напиток не приносит ему ни малейшего наслаждения, словно он должен допить его до конца во что бы то ни стало. Последняя четверть дается ему с откровенным трудом, но он не отставляет кружки, пока не осушает ее. Потом, побледневший, он сидит еще молча, глядя на ошметки пены на дне. Меня не покидает ощущение, что я присутствую при каком-то странном ритуале.

– Этот вкус – самый близкий из всего, что мне пришлось перепробовать. Тот ресторанчик, «Цум Воль», сгинул двести лет назад вместе с пивоварней. Там, где он был, теперь находится одна из опор башни «Прогресс». А это все... – Он оглаживает дубовый стол, дотрагивается до свечи. – Подделка. Знаешь, как бывает? Увидишь сон про себя маленького. Поддашься ему, соберешься и поедешь. Возвращаешься взрослым человеком в дом, где провел детство, а там давно чужие люди. Все устроили по-своему, стены перекрасили и живут там свою жизнь. И получается, что вернуться в тот дом нельзя. Понимаешь?

– Нет. – Я улыбаюсь, с трудом проглатывая ком, вставший у меня в горле. Чтобы толкнуть его, отрезаю себе кусок мяса. Оно уже остыло. На мой вкус, жестко и суховато. Та говядина, которую я иногда ем, обычно тает во рту. А эту отбивную приходится жевать, словно она и вправду раньше была мышцами животного. Черт, неужели она настоящая?

– Ах... Ну да. Прости. И... Тут так же. Вроде бы похоже, но... – Он принимается пилить холодный риндербротен ножом; железо визжит по фарфору. Подносит увядшее мясо ко рту, жует. – Но нет. И тем не менее мне тут нравится. Трудно представить себе более абсурдное место для старого фахверкхауса, чем крыша километровой башни, а? Это с одной стороны. А с другой... С другой – как будто бы... Как будто бы этот дурацкий ресторан – на небесах. Как будто бы я пришел в гости к отцу. На праздник.

Он сам усмехается своей глупости, отхлебывает пива.

– Я... Я не очень понимаю почему... Зачем вы меня... – глядя в тарелку, выдавливаю я. – Сегодня.

– Зачем я позвал чужого человека на день рождения своего отца? – кивает мне Шрейер, механическими движениями измельчая отбивную.

– Да.

Он кладет приборы. Эллен смотрит на меня внимательно. На стекле опустевшего винного бокала – красная печать ее губ.

– Я прихожу сюда каждый год с тех пор, как нашел это место. Каждый год одно и то же: риндербротен, картофельный салат, пиво. Да, Эллен? Это – тот самый день, когда я напоминаю

себе, что потерял веру в дело своего отца. Напоминаю себе, что называл его выжившим из ума чудаком и что стал считать вечную молодость – фантастикой. Триста с лишним лет, как он умер, а я все отмечаю. Он был из последнего поколения, которому пришлось состариться и умереть, разве не глупо? Появись он на свет на двадцать лет позже – и мог бы сидеть тут, с нами.

– Я уверен, что...

– Дай закончить. Не важно, что он ошибался в деталях, что работа, которой он отдал всю свою короткую жизнь, яйца выеденного не стоила. Важно то, что он верил в нее. Вопреки всему. Все оказалось возможно. Он видел будущее. Он знал, что люди станут бессмертными. А я...

– Вряд ли вы должны корить себя за это, ведь...

– Эллен... Ты не могла бы нас оставить на минуту? Мне надо кое-что сказать Яну.

Она встает – золотое платье струится, волосы рассыпаются по обнаженным плечам, зеленые глаза потемнели от вина – и закрывает за собой дверь. Шрейер не смотрит на меня. Он молчит, я терпеливо жду, перебирая про себя самые невероятные версии того, почему он решил приблизить меня.

– Ты слабак, – скрежещет Шрейер.

– Что? – Пиво попадает мне в дыхательное горло.

– Никчемный слабак. Я жалею, что доверился тебе.

– Вы о задании? Я понимаю, что...

– Этот человек хочет отнять у нас бессмертие. Какими бы словами он ни прикрывался, что бы ни лгал в свое оправдание. Хочет нашей смерти. Хочет отнять величайшее из достижений науки... Или ввергнуть мир в хаос. Он заморочил тебе голову. Оболгал нас.

– Я пытался его...

– Я видел запись с камер. Ты просто отпустил его. И ты оставил свидетеля.

– У меня не было оснований... У нее случился выкидыш...

– Представления не имею, сколько мы теперь будем искать Рокамору. Ты отбросил нас на десять лет назад.

– Он ведь не мог далеко уйти...

– Однако его нигде нет! Этот дьявол даже свою девчонку не пытался увидеть, хотя она так и сидит в их квартире.

– Мне он показался просто нытиком.

– Он не боевик! Он идеолог. Он именно дьявол, соблазнитель, понимаешь ты это? Он просто смял твою волю, превратил тебя в свою куклу!

– Звено вышло из-под контроля. Его подругу изнасиловали! – говорю я, теперь понимая, что это ровным счетом ничего не оправдывает.

– От меня требуют наказать тебя.

– Требуют? Кто?

– Но я хочу дать тебе еще один шанс. Ты должен довести дело до конца.

– Найти Рокамору?

– Им теперь занимаются профессионалы. А ты хотя бы... прибери за собой. Избавься от бабы. И живей, пока она не пришла в себя и не заговорила с журналистами.

– Я?

– Иначе мне не объяснить нашим, почему ты все еще не под трибуналом.

– Но...

– А некоторые будут предлагать и более жесткие меры.

– Я понимаю. И...

– Возможно, я совершил ошибку, доверив это тебе. Но моя задача сейчас – сделать хорошую мину и заверить всех, что это была просто осечка.

– Это и была просто осечка!

– Ну и прекрасно. Не беспокойся о счете, я заплачу.

Разговор окончен. Мертвецы в пуделиных париках глядят на меня брезгливо. Для Шрейера я уже исчез, комната опустела. Он задумчиво изучает свою тарелку: от риндербратена осталась только пара жил. Видимо, это все же была настоящая корова, говорю я себе в отупении. В обычной говядине жил нет. Зачем производить то, что потом будет выброшено?

– И как я ее убью? – спрашиваю я.

Он смотрит на меня так, будто я влез без спросу в его счастливый сон о детстве.

– Мне откуда знать?

Оставляю недопитое пиво и ухожу.

Солнце уже зашло за дальние башни, высветило их контуры алым неоном и отключилось; помост, на котором расположился старый фахверкхаус, кажется палубой авианосца, которого Великим потоком забросило на вершину горы Арарат. Белый двухэтажный дом, перепоясанный португеей коричневых балок, сидит на самом краю обрыва. Окна – театр теней – светятся желтым. На фоне в предзакатном сизом смоге густыми тенями проступают неохватные столпы мироздания, могучие башни когда-то немецких компаний, давно позабывших свою национальность в гастроэнтерологических перипетиях корпоративной истории.

– Ян? – окликают меня.

Эллен стоит у входа в стеклянный туннель, ведущий к лифтам. В руках у нее тонкая черная сигарета в мундштуке. Дым от нее поднимается тоже черный. Запах странный, не табачный, сладкий.

Вот уж неудачный момент. Но мне ее не миновать: Эллен преградила единственный путь к отступлению.

– Вы уже уходите?

– Дела.

– Надеюсь, вы полюбили риндербратен. – Она затягивается; черный дым струится из ее ноздрей. – Мне вот никак не удастся.

– Вы похожи на огнедышащего дракона, – говорю я, думая о своем.

– Не бойтесь, – отвечает она, накалывая меня золотой вилочкой и вытаскивая из моей скорлупы, как вытаскивают, чтобы съесть, виноградных улиток.

– Пусть благородные рыцари в сияющих доспехах вас боятся. Мне-то что? – Я реагирую, и она тут же прокручивает вилочку, не давая мне с нее соскользнуть.

– Вы не из моей сказки?

– Я вообще не из сказки.

– Ну да... Вы же работаете в какой-то антиутопии, так? – Эллен размыкает губы, ее улыбка источает дым. – Я бы хотела увидеть вас еще раз. – Черное облако обволакивает ее нагие плечи, как мантию. – Вам случается пить кофе?

– Уверен, вашему мужу эта идея понравится.

– Может быть, и понравится. Я у него узнаю.

Эллен протягивает мне руку и касается своим коммуникатором – золотым кружевом с красными камнями – моего резинового браслета. Тонкий звон. Контакт.

– И что же... Мне можно вас тревожить? – Мне вдруг становится трудно думать о разговоре со Шрейером.

– Неужели вы так и будете всегда спрашивать разрешения? Она вытряхивает мундштук и уходит, не прощаясь.

Обрубок сигареты еще тлеет, и черный дух торопится убежать из него, прежде чем уголек жизни погаснет в том навсегда.

Глава VIII. По плану

Завинченный успокоительным в смиренную рубашку, я прибываю в «Гиперборею» на тубе, сев в вагон на семьдесят первом гейте точно по времени. Плачу десятикратным анонимным билетом – коммуникатора на мне нет.

Ночь я провел в библиотеке, изучая планы этой башни, и, кажется, наизусть запомнил ту ее часть, которая мне нужна. Кажется.

Подбегаю к нужному лифту в последний момент, когда дверь уже закрывается, – и оказываюсь в кабине четвертым. Поправляю зеркальные очки.

– Триста восемьдесят первый, – говорю я лифту.

Все должно идти строго по плану. Убийство – слишком серьезное дело, чтобы полагаться на мои способности к импровизации, вот что я понял. Это только кажется, что свернуть шею девчонке – раз плюнуть. А ведь эта часть – не самая трудная из того, что мне предстоит сделать.

Остальные трое в лифте молчат. Неприятные хари: кожа в чуть заметных пятнах, явно от пересадок, глаза липкие, губы искусанные. Одежда свободная, как у эксгибиционистов, руки в карманах. Через пару секунд один из этих типов – землисто-серый, нездоровый, с запавшими глазами – перехватывает мой взгляд прямо сквозь зеркала очков.

– Тьбе п'мочь? – угрожающе произносит он, проглатывая гласные. Станный акцент.

– Я сам как-нибудь, – улыбаюсь ему я. – Спасибо.

Спокойно. Просто какая-то шушера, возможно, рэкетеры, выдавливающие сладкое молочко из тли мелкого бизнеса, которой сверху донизу обсижена «Гиперборея». Совершенно не обязательно, чтобы их сюда подослал сенатор.

Не обязательно, но вполне вероятно.

Я отпустил Рокамору не бесплатно. Я подарил ему свободу, он мне – паранойю. Неравноценный обмен, но его дар мне может сейчас пригодиться.

Шрейер говорит, на сей раз я должен все сделать один – чтобы искупить свое малодушие, чтобы оправдаться перед кем-то могущественным, жаждущим меня наказать за проваленную операцию.

Что ж, я его услышал. Но у меня самого есть и другая версия, и она тоже имеет право на существование.

Аннели сидит в своей квартире, которая вся облеплена камерами. Мое посещение не останется незамеченным. Ликвидацию я обязан буду совершить в прямом эфире. Это значит, что с того момента, как я позвоню ей в дверь, я окончательно верю свою шкуру Шрейеру. Нажав одну кнопку на своем пульте, он убьет девчонку моими руками; кто знает, какие еще кнопки там есть?

Может быть, убийство Аннели – а то и Рокаморы – свалят на меня точно так же, как несостоявшийся теракт в «Октаэдре» свалили на Партию Жизни. Рокамора ведь оказался прав: взрыва не случилось, бомбу нашли...

Если вдуматься, бросать тень на всех Бессмертных, которых Шрейер так холит, неразумно. Зачем давать обществу лишний повод нас ненавидеть? Но вот если это какой-то конкретный Бессмертный... Отморозок, взявший на себя слишком много, преступивший Кодекс.

Будь ты проклят, Вольф Цвибель. Я не должен был тебя слушать. Но я разрешил тебе говорить – и твой голос все еще продолжает звучать в моей голове.

Если один из Бессмертных, сорвавшись с цепи, убивает Рокамору или его подругу, или обоих – такого взбесившегося пса, конечно, надо пристрелить на месте.

Например, полиция реагирует на сигнал с камер наблюдения. Я оказываю сопротивление – и... Это, с какой перспективы ни погляди, хорошо: публике представят шкуру убитого зверя-людоеда, Бессмертные получают урок дисциплины, а их покровители – возможность говорить,

что это был единичный омерзительный случай и что злоупотребления со стороны Фаланги всегда караются строжайшим образом.

Хотя почему именно полиция? Посланы за мной могут быть и эти трое с пересаженной кожей. Да и вообще кто угодно.

Еще большой вопрос, Аннели, кого сегодня на самом деле собираются принести в жертву в твоей квартире.

Но, прости уж, не убить тебя я не могу тоже.

Одного раза, что я оступился, уже слишком много. Я в Фаланге, и Фаланга во мне. Если мне приказано закрыть грудью амбразуру, так тому и быть. Бессмертные – это не профессия, а орден. Не работа, а служба. За ее пределами нет ничего. Моя жизнь без моей службы – пустота. А дезертиров ждет трибунал.

Так мне надо думать. Так думать я должен.

Но, пока я сижу в библиотеке, занимая лобные доли штудированием чертежей «Гипербореи», мой мозжечок вписывает в план действий какую-то отсебятину. Мозжечок на нашей службе у всех гипертрофированный, а лобными долями некоторые научились и вовсе не пользоваться. Проще и спокойней.

Мне нужен триста восемьдесят первый этаж, сектор J, западный коридор, апартаменты LD-12. И мне нужно найти эти апартаменты самостоятельно. Коммуникатора на мне нет, как нет и вообще никакой электроники, которая позволила бы отследить меня. Мои глаза – под огромными зеркальными очками: даже если система распознавания лиц с такими справится, доказать, что это моя физиономия, им будет непросто.

«Триста восемьдесят первый этаж», – говорит лифт.

Выхожу. И трое выходят следом.

Какое совпадение.

Я был прав: господин Шрейер не привык доверять людям.

Во все стороны от лифтов расходятся коридоры и коридорчики, каждый сплошь в перфорации дверных проемов. Тут царит настоящий бедлам, тесные проходы похожи на улочки средневековых городов, живущие лихорадочной, воспаленной жизнью.

Я-то знаю, куда мне, а эти трое, выйдя, топчутся на месте, уткнувшись в какие-то карты. Что ж, у меня есть немного времени. В этих коридорах сам черт заплутает. Жаль, на сей раз не могу врываться в офисы и штурмовать чужие кабинеты, жаль, со мной не марширует звено Бессмертных. Придется идти длинной дорогой.

Неудивительно, что Рокамора свил тут свое гнездо. Башня старая – настолько старая, что проектировали ее, еще когда болезнь Альцгеймера не была побеждена, и последний удар она нанесла, кажется, именно по архитекторам «Гипербореи». Сплетения коридоров и нагромождения ярусов хаотичны, в их рисунке нет ни шаблона, ни вообще закономерности. На каждом этаже – своя планировка, названия секторов словно сгенерированы случайным образом, между обитаемыми уровнями есть непронумерованные технические, а таблички с цифрами, которые прикрепляют на двери апартаментов, разыгрывали в лотерею.

Вперемешку идут набитые битком жилые квартиры, конторки каких-то загадочных организаций и магазинчики, в которых самой невообразимой белибердой до сих пор торгуют люди. Воздух – жирный от ароматических масел. Прямо в коридоре под яркой вывеской ведет прием мускулистый негр-остеопат, его распластанный клиент стонет, суставы звонко хрустят. За ним – квартира с хлопающей на сквозняке дверью, через которую снуют неопрятные старики, тянет давно немытыми человеческими телами. Приют? Хорошо бы вернуться сюда со звеном, проверить, все ли у них легально. Поворот направо и еще раз направо. Дальше – с десятков лавчонок традиционной медицины, прилавки, исписанные иероглифами, устроены в открытых дверях, узкоглазые шарлатаны лично принимают скопившихся в очереди страждущих. На развилке – налево.

Прежде чем повернуть, оглядываюсь – ни одной из трех этих уголовных харь в толпе вроде бы не видно. Оторвался? Или они тут не по мою душу?

Дальше.

Дешевый бордель под вывеской модельного агентства. Общежитие гастарбайтеров. Трактир с живыми тараканами. Вниз на пол-этажа... Маленькая дверь без вывески.

Сюда вроде.

Я – в том самом темном низком коридорчике, откуда мы со звеном заходили в квартиру Рокаморы. Размеренным шагом – чтобы не привлекать внимания – двигаюсь мимо десятков заставленных хламом пожарных и запасных выходов каких-то безымянных и утлых мирков. Гудят вентиляторы. Шуршат крысы. Отсчитываю двери. Нахожу ее – ту самую. Манекен, велосипедная рама, стулья. Вот мы и дома.

Звонок.

– Вольф?

Босые ноги, торопясь, шлепают по полу. Молчу, боясь спугнуть. Дверь открывается.

– Здравствуйте. Я из социальной службы.

Она смотрит на меня растерянно, не понимает, что я ей сказал. Вся в потекшей черной туши – красилась, чтобы забыть, что с ней случилось, но потом все равно вспоминала – и в мятой мужской рубашке на голое тело. Острые плечи, худые ноги, руки скрещены на груди.

– Разрешите пройти?

– Я не вызывала социальную службу.

Нельзя долго задерживаться под камерами. Я протискиваюсь внутрь прежде, чем она успевает сообразить, что происходит. На полу в прихожей – свернутое одеяло, тут же – ополовиненная бутылка неизвестной дряни.

Работает проектор: анимированные модели голливудских актеров двадцатого века отыгрывают какую-то историческую драму в рисованных декорациях. Актеры тоже не дожили до бессмертия самую малость. Так что им уже все равно, зато наследники теперь зарабатывают, сдавая в прокат цифровые чучела своих предков.

– Я не вызывала социальную службу! – упорно бормочет Аннели.

– Нам поступил сигнал. Мы обязаны проверить. – Я вежливо улыбаюсь.

Мельком оглядываю помещение. Есть ли тут камеры? Дверь в спальню приоткрыта. Прохожу туда. Окно расшторено, вид во внутренний дворик. На постели – скрученные бухтами простыни, промочены красным.

– Там кровь, – возвращаюсь я к ней. – Это ваша?

Она молчит, шурится, старается сфокусировать на мне взгляд.

– Вам нужно к врачу. Собирайтесь.

Увести ее отсюда. Увести, прежде чем нагрянула полиция, прежде чем эту квартиру нашел дублирующий состав шрейеровских чистильщиков. Увести туда, где нет камер наблюдения, где не будет посторонних глаз, где я смогу остаться с ней наедине.

– Твой голос... Мы знакомы?

– Простите?

– Я знаю твой голос. Кто ты?

У нее язык заплетается, и на ногах она еле стоит, но тем лучше для меня. Переупрямить пьяного – непростая задача, зато потом мне предстоит тащить ее через места, кишящие всяким сбродом, и пусть лучше случайные свидетели верят мне, а не ей.

– Мы не знакомы.

– Почему ты в очках? Сними очки, хочу на тебя посмотреть.

Есть ли тут камеры? Успели ли они нашинковать камерами квартиру Рокаморы и изнутри? Если да, у них будет неопровержимое доказательство того, что я здесь был.

– Я никуда с тобой не пойду. Я вызываю полицию...

Блефует. До сих пор не вызвала – и сейчас не вызовет. И все же я оголяю глаза. Я не боюсь, что она меня узнает: во время нашей позавчерашней операции я так и не снял маски, хоть она и натерла мне душу до волдырей.

– Я тебя не помню, – задумчиво говорит Аннели. – Не помню лица. Но голос... Как тебя зовут?

– Эжен, – отвечаю я; нужно уже перехватывать инициативу. – Что случилось? Откуда кровь?

– Уходи. – Она толкает меня в плечо. – Уходи отсюда!

Но тут сквозь бубнеж анимированных актеров пробивается, прорастает еще какой-то шум. Еле слышный, тревожный. Голоса! Чье-то перешептывание в этом заброшенном черном ходе. Если бы я не ждал его, если бы не встретил тех троих в лифте, мое ухо нипочем не уловило бы его, этот инфразвук. Но я ждал.

– Тихо! – приказываю я Аннели.

Шорох шагов – мягкие подошвы, кошачьи лапы – замирает.

– Тут вроде. – Сиплый голос вползает в дверные щели. Так. Так-так. Так-так-так.

Подкрадываюсь к двери – к висящей на одной дохлой петле двери, которую мы же сами накануне высадили, – и приникаю к глазку. Черно. Вспоминаю: мы его заклеили снаружи. Прекрасно.

– Что происходит? – спрашивает у меня Аннели.

– Спокойно, – говорю я себе.

Мерзким старческим голосом дребезжит дверной звонок – звук до того неуместный в новом мире, что я не сразу понимаю даже, что он имеет отношение к этому моменту, к этой квартире, что он раздастся сейчас и здесь, а не пятьсот лет назад в мелькающем на фоне нашей драмы историческом кино.

– Молчите, – предупреждаю я Аннели.

Но сразу вслед за звонком на дверь обрушиваются чьи-то кулаки. Стучат так, что я уверен: сейчас она рухнет внутрь; а у меня ничего не готово.

– Аннели!

– Кто это? – кричит Аннели.

– Откройте, Аннели! – За дверью переходят на громкий шепот. – Мы свои. Из партии.

– Из какой еще партии? – Она распрямляется, складывает руки на груди.

– Из п'ртии! Х'сус нас п'слал... За т'бой... – глотая гласные, вступает другой голос – не того ли упыря с перепланным лицом, который хотел мне п'мочь в лифте? Точно – его.

– Не открывайте... Не вздумайте! – Я хватаю ее за руку.

Аннели высвобождается, вывинчивается – теряет равновесие и чуть не падает.

– Какой еще Хесус?! – нетвердо выговаривает она.

Неужели Рокамора действительно никогда не говорил ей о том, чем занимается? При-творялся обычным человеком? Скрывать такое от женщины, с которой живешь... Браво.

– Не слушай их. Это убийцы, – говорю я ей. – Головорезы.

– Хесус! Твой парень! – настаивают за дверью.

– Не знаю никакого Хесуса!

– Аннели! Мы должны вытащить тебя отсюда, пока тебя не убрали! – шипят в коридоре. Вовремя я.

Мне вдруг хочется думать, что Шрейер действительно настолько хитроумен, как я полагаю, и что кто-то подстраховывает меня в этом моем деле, что меня не оставят один на один с боевиками Партии Жизни. Эти типы в лифте выглядели как наемные убийцы, и под плащами у них, готов биться об заклад, не кружевное белье. Мы не в кино, и я со своим скромным инструментом против троих вооруженных террористов не выстою. Убрать девчонку прямо сейчас, пока внутри не ворвались ее спасители?

– Послушай! – Я беру Аннели за плечи. – Я не из социальной службы. Это я должен тебя вытащить отсюда, я, а не они, понимаешь? По просьбе Вольфа.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.